

Красная Месса. Том I: Заря

Конюшенко Егор



18+

Егор Конюшенко
Красная Месса. Том I: Заря

«Автор»

2026

Конюшенко Е.

Красная Месса. Том I: Заря / Е. Конюшенко — «Автор», 2026

В 1941 году секретный отдел НКВД находит древний алтарь с рунами, пробуждающими сущность, питающуюся кровью. Чтобы обуздать её, двух братьев-близнецов превращают в носителя и якорь, но древняя тьма не подчиняется людям — она лишь ждёт жатвы. Что останется от человека, когда он становится вместилищем для голода, который не утолить?

© Конюшенко Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Пролог. Знаки Коляды | 5 |
| Глава 1. Серебро мёртвых | 11 |
| Глава 2. Голод | 17 |
| Глава 3. Трещина | 24 |
| Глава 4. Пробуждение зверя | 31 |
| Глава 5. Песнь жатвы | 39 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 41 |

Егор Конюшенко

Красная Месса. Том I: Заря

Пролог. Знаки Коляды

Кабинет Лаврентия Павловича Берии в подвальном этаже знаменитого дома на Лубянке более всего напоминал бункер — и по сути, и по форме. Никаких окон, глухие стены, обитые дубовыми панелями, поверх которых шла двойная шумоизоляция из войлока и свинцовых пластин. Воздух сюда подавали через систему фильтрации, и он был сухим, немного спёртым, с едва уловимым запахом старой бумаги, карболки и ещё чего-то, что старший майор госбезопасности Борис Савельевич Ярцев привык называть про себя «ароматом государственной тайны».

Был конец июля 1941 года. Война уже перемолола приграничные дивизии, немцы рвались к Смоленску, и Москва, ещё не знавшая октябрьской паники, уже начала меняться изнутри — улицы темнели по ночам, аэростаты воздушного заграждения лежали на бульварах, как снулые киты, а в кабинетах НКВД не гасили свет до рассвета.

Ярцев вошёл ровно в двадцать три ноль-ноль, как было приказано. Высокий, сухой, с бледным, почти бескровным лицом и аккуратными усиками — такими, какие носили ещё до революции, когда он, тогда студент-историк Петроградского университета, и помыслить не мог, что окажется в этих стенах, да ещё в таком качестве. На нём был новенький китель с малиновыми петлицами, но без орденов — в органах он ещё не успел выслужиться, взлетев до старшего майора за три года благодаря редкому сочетанию аналитического ума и фанатичной преданности делу.

В кабинете, кроме хозяина, находились ещё двое. Сам Берия сидел за массивным столом, заваленным папками с грифами «Особой важности», и просматривал какие-то бумаги, не поднимая головы. Пенсне поблёскивало в свете зелёной лампы. По правую руку от него стоял незнакомый Ярцеву генерал-майор с тяжёлым, будто вырезанным из морёного дуба лицом — позднее Ярцев узнает, что это начальник Секретного архивного управления. По левую — военный в форме полковника-артиллериста, хотя по выправке чувствовался старый чекист.

— Старший майор госбезопасности Ярцев по вашему приказанию прибыл, — доложил Борис Савельевич, вытянувшись почти по-строевому. Он знал: Берия ценит чёткость, но без излишней солдафонской муштры. Взгляд его скользнул по столу — там среди вороха документов лежал какой-то плоский предмет, накрытый серой холстиной.

Берия поднял голову. Его лицо — округлое, с крупными чертами, которые на фотографиях казались почти добродушными, — вблизи производило совершенно другое впечатление. Взгляд из-под стёкол пенсне был цепким, оценивающим, без тени теплоты.

— Проходите, Борис Савельевич. Садитесь. — Он указал на стул напротив. — Разговор будет долгий и, предупреждаю сразу, выходящий за рамки вашей обычной компетенции. Именно поэтому выбор пал на вас. Вы историк по образованию, вы занимались анализом трофейных документов абвера, и, что самое важное, у вас нет предрассудков. А нам сейчас понадобится именно это — отсутствие предрассудков.

Ярцев сел, стараясь держать спину прямо. Сердце билось ровно, но где-то глубоко внутри шевельнулось давно забытое чувство — предвкушение настоящего Дела. Не рутинной фильтрации «врагов народа», не бесконечных допросов бывших военспецов, а чего-то иного.

Берия кивнул генерал-майору. Тот взял со стола холщовый свёрток и аккуратно развернул его.

На зелёном сукне, в которое были обернуты внутренние папки, лежала каменная пластина. Размером примерно с развёрнутую газету, толщиной в три пальца, из чёрного, почти базальтового камня, но с неестественно гладкой, будто оплавленной поверхностью. На ней были вырезаны знаки — не кириллица, не латиница, не глаголица. Скорее руны, но не германские. Более плавные, с характерными «завитками», отдалённо напоминающими и скандинавский футарк, и древнеарамейское письмо одновременно.

— Это, — Берия чуть пододвинул пластину к себе, и зелёный свет лампы скользнул по углублениям рун, заставляя их отбрасывать резкие тени, — изъято три дня назад на Смоленском направлении. Точнее, в районе Гнездовского археологического комплекса. Экспедиция профессора Шестакова, которую мы ещё в мае взяли под контроль, обнаружила это в кургане номер семнадцать. Курган датируется десятым веком. Понимаете? Десятый век. Ещё княгиня Ольга не родилась, а это уже лежало в земле.

Ярцев смотрел на каменную плиту, и его профессиональное чутьё историка уже кричало о невероятности находки. Но он молчал, ожидая продолжения.

— Эти знаки, — Берия ткнул коротким пальцем в руны, — по предварительному заключению профессора Шестакова, являются так называемыми «знаками Коляды». Слышали о таких?

Ярцев покачал головой.

— Правильно, что не слышали. Потому что все упоминания о них в открытых источниках были изъяты ещё в тридцать седьмом, а учёных, которые ими занимались, отправили в лагерь или расстреляли. Но кое-что осталось в закрытых архивах. Генерал-майор Захаров, будьте добры, краткий экскурс.

Генерал-майор, до того молча стоявший с каменным лицом, сделал полшага вперёд. Голос у него был глухой, монотонный, как у человека, привыкшего докладывать только самую суть.

— Знаки Коляды, или, в некоторых источниках, «Каляды-велесовы руны», — символы, предположительно использовавшиеся дохристианским жреческим сословием на территории Восточной Европы. В летописях не упоминаются, за исключением одного фрагмента в Ипатьевском списке, который был удалён в девятнадцатом веке по личному распоряжению обер-прокурора Святейшего синода. Согласно закрытым отчётам этнографических экспедиций двадцатых годов, данные знаки использовались в ритуалах, связанных с так называемым «пробуждением земли» и, по некоторым данным, с попытками воскрешения мёртвых.

Ярцев невольно перевёл взгляд на пластину, и ему показалось, что в свете лампы руны на мгновение вспыхнули и погасли. Он знал, что это оптическая иллюзия, игра теней и усталости, но по спине пробежал холодок.

— Немцы, — сказал Берия, и голос его стал тише, жёстче, — тоже знают об этих рунах. В абвере существует специальная группа «Аненербе-Ост», которая, по нашим данным, уже добралась до аналогичных захоронений под Псковом. Они отстают от нас на несколько дней, но это временно. — Он снял пенсне и начал протирать его платком, не глядя на Ярцева. — Я не верю в мистику, Борис Савельевич. Я верю в науку. Но я также верю в то, что если немцы найдут способ использовать эти знания для усиления своей армии, если они смогут, скажем, воскрешать своих убитых солдат или делать их неуязвимыми для пуль и снарядов, — война будет проиграна. Не через месяц, не через год. Но будет проиграна.

Он надел пенсне и в упор посмотрел на Ярцева.

— Поэтому я приказываю вам создать оперативную группу «Заря». Ваша задача — опередить немцев. Изучить артефакты, выяснить их природу и, если возможно, поставить их на службу Красной Армии. На всё — максимальные полномочия, неограниченное финансирование из Секретного фонда № 1941, доступ к любым архивам и, в случае необходимости, к

заклѳенным лагерей. Люди, оборудование, ресурсы — просите что угодно. Через неделю вы должны быть на месте раскопок и начать работу.

Ярцев поднял голову и встретился взглядом с Берией. В голове проносились десятки вопросов — от технологических до этических. Но он знал: задавать здесь можно только те вопросы, которые касаются исполнения приказа.

— Кто войдет в группу, Лаврентий Павлович?

— Это уже ваша забота. Подберете людей из числа проверенных сотрудников НКВД и привлеченных специалистов. Единственное условие — абсолютная секретность. О целях группы будете знать только вы и я. Для всех остальных — это археологическая разведка в прифронтной полосе. Все ясно?

— Так точно, товарищ нарком внутренних дел.

— Тогда завтра к десяти утра представить мне список кандидатов. И помните: времени у вас мало. Немцы в двадцати километрах от Смоленска. Если город падет, вся эта каменная грамота окажется у них в руках. А тогда, — он помолчал, перевернул пластину тыльной стороной вверх, — тогда никакая жатва нам не поможет.

Ярцев взглянул на обратную сторону плиты. Там был вырезан круг, внутри которого переплетались три спирали, расходящиеся к краям и вновь сходящиеся в центре. Знак напоминал одновременно и древний лабиринт, и схему движения небесных сфер. И в этом рисунке было что-то такое, отчего захотелось немедленно отвернуться.

— Разрешите идти?

— Идите. — Берия снова опустил глаза в бумаги, и его лицо вновь стало непроницаемым. — Жду предложений утром, Борис Савельевич. И постарайтесь, чтобы в вашей группе не было слабых духом. Слабость в этом деле смерти подобна. В буквальном смысле.

Ярцев встал, шёлкнул каблуками и вышел. В коридоре, где тусклые лампы под потолком гудели, как рассерженные шмели, он остановился на минуту, привалившись спиной к холодной стене. В голове шумело. Он только что получил приказ, от которого зависело, если верить Берии, само существование страны. И в то же время он не мог отделаться от ощущения, что, прикоснувшись к этой чёрной пластине, он переступил какую-то невидимую черту, за которой заканчивается рациональный мир и начиналось что-то совсем иное.

Через секунду он отлепился от стены, поправил портупею и быстрым шагом направился к выходу. В ушах ещё звучали обрывки фраз наркома — «немцы тоже ищут подобное», «война проиграна», «опередить их». Нужно было найти физика Невзорова и двух толковых следователей. Война продолжалась, и теперь у неё, кажется, открылся новый, тёмный, никому не ведомый фронт.

Он спустился по боковой лестнице, минуя постовых, которые вытягивались перед ним, узнавая малиновые петлицы старшего майора, и вышел во внутренний двор Лубянки, где его ждала чёрная эмка с приглушённым мотором. Было уже далеко за полночь, но Москва не спала. Где-то на западе, за затемнёнными окраинами, погромыхивало — то ли гроза, то ли артиллерийская канонада с передовой. Ярцев сел на заднее сиденье, захлопнул дверцу и приказал шофёру ехать в Химки, в лабораторный корпус Особого технического бюро.

Пока автомобиль петлял по пустым улицам, он достал из внутреннего кармана блокнот и при свете карманного фонарика начал набрасывать список. Первым в нём значился физик — Алексей Невзоров. Этого человека Ярцев знал ещё по совместной работе в тридцать девятом, когда они анализировали трофейную польскую документацию по секретным военным разработкам. Невзорову было двадцать восемь, он был тощ, небрит и обладал редкой способностью мыслить за пределами учебников — именно то, что требовалось для изучения каменной пластины, которая не вписывалась ни в один учебник.

Вторым номером шёл капитан Вадим Стеклов — следователь из отдела по особо важным делам, которого Ярцев помнил как человека с мёртвой хваткой и полным отсутствием вообра-

жения. Воображение в таком деле было скорее помехой — нужен был тот, кто будет методично фиксировать факты, не отвлекаясь на мистические интерпретации.

Третьим — лейтенант Всеволод Громов. Вот это была уже загадка. Ярцев знал его недолго, но успел заметить одну особенность: Громов умел появляться в нужное время в нужном месте, словно у него был нюх на опасность. Ему шёл тридцать первый год, он был спокоен до флегматичности, но за этим спокойствием угадывалась какая-то глубинная, почти звериная чуткость. Ярцев подумал, что в группе должен быть такой человек — не просто исполнитель, а тот, кто сможет заметить то, чего не заметят другие.

К трём часам утра список был готов. Шофёр высадил его у проходной лабораторного корпуса, где в единственном освещённом окне на втором этаже уже горел свет — Невзоров, как обычно, не спал, проводя какие-то свои бесконечные расчёты.

Ярцев поднялся по скрипучей лестнице, толкнул дверь и увидел физика — тот сидел за столом, заваленным графиками и логарифмическими линейками, и пил чай из химического стакана.

— Алексей Дмитриевич, — сказал Ярцев без предисловий, — пакуйте свои расчёты. Завтра отбываем под Смоленск. Подробности сообщу в самолёте, но предупреждаю сразу: там есть каменная пластина, которой тысяча лет, и она, возможно, может менять свойства материи. Вам это интересно?

Невзоров поднял на него воспалённые от недосыпа глаза, помолчал, потом отставил стакан и ответил:

— Борис Савельевич, если вы говорите «менять свойства материи», значит, вы либо сошли с ума, либо нашли то, о чём я читал только в закрытых архивах. Я пару лет назад наткнулся на отчёт одной этнографической экспедиции двадцать четвёртого года — там описывались камни с «аномальным тепловым излучением». Думал, бред. А теперь вы. Когда вылет?

— В шесть утра. Будьте на аэродроме.

Затем Ярцев поехал к себе в управление, где в дежурной части разбудил задремавшего адъютанта и приказал немедленно найти Стеклова и Громова. Первый нашёл в соседнем кабинете — он как раз дописывал какой-то протокол, и, когда ему изложили суть задания, лишь молча кивнул и начал собирать чемоданчик с инструментарием следователя. Второго — Громова — пришлось поднимать по телефону из дома; он выслушал приказ Ярцева, не перебивая, и только в конце спросил:

— Разрешите вопрос, товарищ старший майор?

— Разрешаю.

— Это связано с тем курганом, о котором говорили в сводках армейской разведки?

Ярцев помедлил. Откуда Громов знает о кургане, если информация была засекречена даже от большинства офицеров управления? Он сделал себе мысленную пометку — присмотреться к этому лейтенанту повнимательнее.

— Связано, — сказал он коротко. — В пять тридцать на аэродроме. Оружие брать с собой. Всё.

На аэродром они прибыли ещё затемно. Утренний туман стелился над лётным полем, и в этом тумане, словно призраки, темнели силуэты двух транспортных Ли-2, готовившихся к вылету. Ярцев уже стоял у трапа, пересчитывая глазами прибывших: Невзоров, Стеклов, Громов. Все на месте. Грузовой отсек был забит ящиками с оборудованием — от портативной рентгеновской установки до набора для химического анализа.

И тут он заметил их.

Двое молодых лейтенантов в полевой форме, с винтовками Мосина за плечами, стояли чуть поодаль, у края взлётной полосы, и смотрели прямо на него. Они были до странности похожи — одинаковый рост, одинаковые скулы, одинаковый разворот плеч. Только у одного,

что стоял слева, глаза были спокойные, серые, внимательные, а у второго — тёмные, почти чёрные, с каким-то лихорадочным блеском.

— Кто такие? — спросил Ярцев у адъютанта.

— Братья Чугуновы, товарищ старший майор. Михаил и Пётр. Двадцатого года рождения. Снайперы-разведчики. Приписаны к штабу округа, но просят в вашу группу. Говорят, что им приказано усилить охрану экспедиции.

Ярцев нахмурился. Никакого приказа о прикомандировании братьев он не отдавал. Он подошёл к ним, и лейтенанты синхронно, как в зеркальном отражении, вытянулись по стойке «смирно».

— Кто вас послал?

— Начальник штаба генерал-майор Петровский, — ответил тот, что со спокойными глазами. Голос у него был глуховатый, сдержанный. — Мы получили предписание явиться в ваше распоряжение. Личное дело у каждого с собой.

Ярцев взял протянутые папки. Бегло пролистал. Михаил — снайпер первого класса, сорок два подтверждённых попадания на учениях, характеристика — «хладнокровен, дисциплинирован». Пётр — снайпер первого класса, пятьдесят одно попадание, характеристика — «инициативен, склонен к риску». Братья-близнецы, двадцатый год рождения. Из семьи потомственных охотников, выросли в лесах под Вяткой.

— Вы понимаете, куда направляетесь? — спросил Ярцев, возвращая папки.

— Никак нет, — ответил Пётр. Его голос был звонче, резче, и он смотрел на Ярцева с той особой дерзостью, которая бывает у молодых офицеров, ещё не понюхавших настоящего пороха. — Но мы слышали, что там немцы, а где немцы — там наша работа.

— А вы? — Ярцев перевёл взгляд на Михаила.

Михаил помедлил, и в этом промедлении было что-то, что заставило Ярцева насторожиться.

— Мы с братом всегда вместе, товарищ старший майор, — сказал он наконец. — Так было всегда. Так будет и в этот раз. Мы не подведём.

Ярцев оглядел их ещё раз. Что-то в этих близнецах было необычное — не просто сходство, а какая-то почти физически ощутимая связь. Когда Михаил чуть повёл плечом, Пётр тут же поправил ремень винтовки, хотя его собственный ремень сидел нормально. Когда Пётр нахмурился, тень прошла и по лицу Михаила. Ярцев мысленно отметил это и принял решение.

— Хорошо. Летите с нами. Оружие, боеприпасы, сухой паёк на трое суток — всё с собой. В самолёте доложите о своих навыках подробнее. И запомните: с этого момента вы подчиняетесь только мне и никому больше. Никакой самостоятельности, никаких подвигов. Ясно?

— Так точно! — ответили они хором.

Ярцев развернулся и пошёл к трапу. За его спиной Громов, который всё это время стоял молча у самолёта, проводил близнецов долгим, изучающим взглядом. Потом перевёл глаза на Ярцева, но ничего не сказал.

Самолёт взревел моторами, и через несколько минут Москва осталась внизу — серое пятно в утренней дымке, пронизанное первыми косыми лучами солнца. Ярцев сидел у иллюминатора, смотрел на проплывающие под крылом поля и леса и думал о том, что только что к его группе присоединились два человека, которых он не планировал брать, и что это, возможно, самая важная случайность во всей операции.

А ещё он думал о чёрной пластине, которая сейчас лежала в опечатанном ящике в грузовом отсеке, и о том, что сказал Берия: «Если немцы найдут способ воскрешать своих солдат — война проиграна». Ярцев не знал, верит ли он в возможность воскрешения. Но он знал, что нацистский Аненербе роет землю от Норвегии до Тибета, и если есть хоть один шанс из тысячи, что эти руны работают, — он должен быть на шаг впереди.

Ли-2 качнуло в восходящем потоке. Впереди был Смоленск, курган, и тьма, которая спала под землёй тысячу лет и теперь начала просыпаться.

Глава 1. Серебро мёртвых

Август 1941 года выдался в Смоленской области жарким и душным, словно сама земля дышала сквозь развороченные снарядами раны. От Смоленска, который ещё держался, до деревни Гнездово было всего двенадцать километров по разбитой просёлочной дороге, и эти двенадцать километров группа «Заря» преодолела за три часа — дважды пришлось пережить авианалёты в придорожных кюветах, один раз объезжать сгоревшую колонну беженцев.

Деревня встретила их пустыми глазницами окон. Часть домов была сожжена, часть стояла нетронутой, но брошенной — жители ушли на восток ещё в середине июля. Лишь на окраине, возле самого леса, сохранился лагерь археологической экспедиции: три палатки, полевая кухня, грузовик с пробитым колесом и несколько рабочих, оставшихся под охраной отделения красноармейцев.

Ярцев первым выпрыгнул из кузова полуторки, размял затёкшие ноги и огляделся. Место было странное. Не в смысле примет — обычный пейзаж средней полосы, сосны, берёзы, заливные луга. Но чувствовалось здесь что-то такое, отчего хотелось говорить тише и не делать резких движений. Воздух казался плотным, как перед грозой, хотя небо было чистым, и где-то вдалеке, на западе, слышался низкий, утробный гул артиллерии — немцы продолжали обстрел Смоленска.

Профессор Шестаков вышел им навстречу из ближайшей палатки. Это был старик лет семидесяти, сухой, как палка, с седой бородой клинышком и воспалёнными глазами, в которых читалась смесь страха и лихорадочного научного возбуждения. Его пенсне сидело криво, на пиджаке недоставало двух пуговиц, а руки, когда он здоровался с Ярцевым, заметно дрожали.

— Старший майор Ярцев, — представился Борис Савельевич, коротко пожав сухую, птичью ладонь профессора. — Это моя группа. Где объект?

— Объект, — повторил Шестаков с нервной усмешкой, — объект — это курган номер семнадцать, товарищ старший майор. Мы вскрыли его двое суток назад. И с тех пор я не могу заставить своих людей спуститься туда повторно. А те, что спускались, — он понизил голос и оглянулся, — двое рабочих... они теперь в лазарете. Не разговаривают. Совсем.

Ярцев переглянулся с Громовым, который стоял чуть позади и молча слушал. Громов едва заметно приподнял бровь — единственный признак того, что информация его заинтересовала.

— Ведите, профессор.

Курган находился в полукилometре от деревни, на опушке старого, ещё доекатерининских времён, леса. Это был не просто холм, а сложное земляное сооружение — два кольцевых вала, между ними ров, ныне заросший ольхой, и в центре насыпь высотой около четырёх метров. В склоне чернел провал — археологи расширили старый грабительский лаз, укрепили его брёвнами и проложили дощатый настил.

У входа в раскоп горели два фонаря на аккумуляторах. Из подземного лаза тянуло холодом и пахло чем-то сладковатым — так пахнут старые кости, смешанные с болотным торфом и чем-то ещё, чему Ярцев не мог подобрать названия.

— Мы углубились на шесть метров, — пояснил Шестаков, когда они начали спускаться. — Курган датируется десятым веком, это точно. Но то, что мы нашли внутри, не соответствует ни одной известной погребальной традиции восточных славян. Ни кривичей, ни радимичей, ни дреговичей. Вообще никого.

Спуск занял несколько минут. Доски скрипели под ногами, стены лаза были влажными, с них капала вода. За Ярцевым шли Громов, Стеклов и оба брата Чугуновых — Михаил с фонарём, Пётр с винтовкой наизготовку. Невзоров остался наверху готовить оборудование для первичного анализа.

И вот они вошли в погребальную камеру.

Это было прямоугольное помещение размером примерно четыре на пять метров, с низким потолком, подпёртым полусгнившими дубовыми столбами. Стены были обложены тёсным известняком, на котором слабо проступали выцветшие следы каких-то рисунков. В центре, на каменном возвышении, лежали три скелета.

Но это было не обычное захоронение.

Скелеты были скреплены между собой толстыми серебряными цепями, которые обвивали шейные позвонки, рёбра и тазовые кости. Цепи эти были покрыты чернью, но на них ещё можно было различить мелкие, почти микроскопические руны — те самые «знаки Коляды». Скелеты лежали неестественно: руки сведены за спиной, позвоночники изогнуты так, словно люди пытались вывернуться из оков. И ещё одно: на каждом черепе, на лобной кости, темнели три отверстия, просверленные с ювелирной точностью.

А в изголовье этого жуткого триптиха стоял алтарь.

Он был вырезан из цельного куска чёрного камня, похожего на обсидиан, но с металлическим отблеском. Поверхность его была отполирована до зеркального блеска, и в ней отражался свет фонарей, но как-то неправильно — отражался не прямо, а под странным углом, словно камень имел глубину и затягивал свет внутрь себя. На верхней плите алтаря виднелись желоба, сходящиеся к центральному углублению — к нему они когда-то отводили что-то жидкое. И это вряд ли была вода.

Громов остановился у входа и медленно обвёл камеру взглядом. Его лицо оставалось спокойным, но дыхание чуть участилось.

— Товарищ старший майор, — сказал он негромко, — посмотрите на стены.

Ярцев перевёл взгляд со скелетов на стены камеры и только теперь заметил, что выцветшие рисунки на известняке — это не орнамент. Это были сцены: одна фигура, тёмная, условно-человеческая, проникала в другую, светлую, и та меняла очертания, становясь то зверем, то птицей, то бесформенным облаком.

— Профессор, — Ярцев повернулся к Шестакову, — что вы знаете об этом?

Шестаков долго молчал, глядя на скелеты. Потом снял пенсне, протёр его краем пиджака и заговорил — тихо, словно боялся, что мёртвые услышат:

— Вы должны понимать, товарищ старший майор... То, что я скажу, выходит за рамки официальной науки. За это меня могут и к стенке поставить, если решат, что я мракобес.

— У вас есть мой приказ, профессор. Говорите всё, что знаете.

Шестаков вздохнул.

— Это не славяне, майор. Это кереку. — Он произнёс это слово с ударением на последний слог, и оно прозвучало как имя, которое нельзя называть вслух. — Полубоги, о которых запрещено говорить даже в закрытых академических кругах. В двенадцатом веке киевский митрополит Климент Смолятич упоминал их в одном послании, но уже тогда называл «существами, о которых надлежит молчать, ибо сказание о них есть сказание о тьме».

— Полубоги? — переспросил Стеклов, который до сих пор молчал и только фотографировал камеру портативным «ФЭДом». — Вы хотите сказать, что это языческие идолы?

— Нет. Не идолы. — Шестаков покачал головой и шагнул ближе к скелетам. — По легенде, которая сохранилась в некоторых старообрядческих общинах на Урале и в Заволжье, кереку — это сущности, которые могли вселяться в живых людей и менять их природу. Они не были ни людьми, ни духами, ни демонами в христианском понимании. Они были чем-то третьим. И они не умирали — только меняли сосуды. Легенда гласит, что некоторым жрецам удалось заманить трёх кереку в ловушку, заковать в тела, скрепить цепями из серебра — единственного металла, который их удерживал, — и похоронить заживо, чтобы они никогда не пробудились.

В камере повисла тишина, нарушаемая только капаньем воды и далёким гулом артиллерии.

— Серебряные цепи, — нарушил молчание Громов, — три скелета, алтарь. Всё сходится.

— Именно, — кивнул Шестаков. — И я думаю, что немцы, чёрт бы их побрал, ищут именно это. Не просто артефакты, не просто древности. Они ищут кереку. Они хотят их разбудить.

Ярцев стоял над алтарём и смотрел в его чёрную, поглощающую свет глубину. Ему казалось, что камень чуть-чуть вибрирует — не физически, а где-то на грани восприятия, как будто внутри него что-то дышит.

— Капитан Стеклов, — скомандовал он, — продолжайте фотосъёмку. Зафиксируйте каждую деталь. Лейтенант Громов — осмотрите цепи на предмет маркировки и клейм. Братья Чугуновы — оставаться на входе, следить за тишиной.

А затем он повернулся к Шестакову и сказал то, от чего профессор вздрогнул:

— Алтарь мы забираем в Москву. Скелеты сжечь. Немедленно. Если ваша легенда верна, то эти трое лежат здесь тысячу лет и всё ещё могут проснуться. Я не дам им этого шанса.

Шестаков открыл было рот, чтобы возразить — видимо, с точки зрения археологии уничтожение такого захоронения было чудовищным вандализмом, — но, встретившись взглядом с Ярцевым, осёкся и лишь кивнул. В конце концов, он был учёным, но сейчас шла война, и приказы старшего майора госбезопасности не обсуждались.

Когда группа начала готовиться к подъёму, Громов, который обходил камеру с фонарём, остановился в углу и негромко окликнул Ярцева:

— Товарищ старший майор. Взгляните.

Ярцев подошёл. Громов направил луч фонаря на стену. Там, в углу, почти стёртый временем, был выцарапан ещё один рисунок — примитивный, но узнаваемый. Человеческая фигура с чёрными провалами вместо глаз стояла у алтаря, а из её груди выходили три линии, соединившиеся с тремя другими фигурами, лежащими ниц.

— Это не картина погребения, — сказал Громов тихо. — Это инструкция.

Ярцев долго смотрел на рисунок, потом перевёл взгляд на алтарь, потом на скелеты. И впервые за много лет почувствовал холодок, который не имел отношения ни к температуре, ни к сырости подземелья.

— Возможно, — сказал он наконец. — Но мы здесь для того, чтобы эту инструкцию не прочёл никто другой. Заканчивайте осмотр и наверх. До темноты мы должны убраться отсюда.

Громов кивнул и направился к выходу. А Ярцев ещё на минуту задержался у алтаря. Ему вдруг показалось, что чёрная поверхность камня чуть заметно затуманилась — словно от его дыхания. Или словно кто-то внутри камня тоже дышал, ожидая, когда его найдут.

Через полчаса алтарь был упакован в ящик с войлочной обивкой и погружен на полуторку. Скелеты, облитые горючей смесью, занялись огнём в костре, разведённом у подножия кургана. Дым поднимался столбом к вечернему небу, и Ярцев, стоя у машины, смотрел, как он растворяется в сумерках.

Когда костёр догорел до ровного, жаркого нутра, выбрасывая в темнеющее небо снопы искр, которые гасли, не долетая до крон старых сосен, запах горелой кости — сладковатый, тошнотворный — всё ещё висел над поляной. Даже табачный дым, который молча курили бойцы из охраны, не мог его перебить. Солнце уже закатилось за верхушки деревьев, и лес начал наполняться той особенной августовской тьмой, что приходит не постепенно, а как-то сразу, словно кто-то выключает свет.

К этому времени ящик с алтарём уже покоился в кузове головного грузовика на толстом слое войлока, обложенный мешками с песком, чтобы не смещался на ухабах. Ярцев лично затянул последний ремень и проверил натяжение. Рисковать такой ценностью он не собирался.

Профессор Шестаков сидел на поваленном бревне поодаль, уронив голову на руки. Его плечи под выгоревшим парусиновым пиджаком мелко подрагивали — то ли от усталости, то ли от нервного потрясения. Рядом с ним стоял лейтенант Громов, не произнося ни слова, но и не отходя.

Ярцев закончил с креплениями, одёрнул китель и подошёл к профессору. Тот поднял голову, и в свете переносного фонаря его лицо показалось Ярцеву совсем старым — не семидесятилетним, а древним, как те кости, что догорали в костре.

— Профессор, — сказал Ярцев, присаживаясь рядом на корточки, — вы мне не всё рассказали. Там, внизу, вы говорили о легендах. Но я хочу знать не легенды. Я хочу знать, почему вы так боитесь. Вы, учёный. Человек, который видел десятки захоронений.

Шестаков долго молчал. Потом снял пенсне и начал протирать его, хотя стёкла были чисты. Руки его дрожали.

— Вы правильно заметили, товарищ старший майор. Я видел десятки захоронений. — Голос его был глухим, надтреснутым. — Я вскрывал могильники вятичей под Рязанью, курганы кривичей под Тверью, я работал на раскопках в Новгороде, где культурный слой доходит до восьми метров. Я видел всё, что может увидеть археолог. Но я никогда — слышите? — никогда не видел того, что увидел здесь.

Он помедлил, и Громов, стоявший рядом, чуть наклонился, чтобы не пропустить ни слова.

— Я сказал вам внизу, что это кереку. Но я не сказал главного. — Шестаков облизал пересохшие губы. — Кереку — это не просто легенда. Это запретная тема, которую советская археология постаралась забыть, а чекисты — стереть. Но я старый человек, и у меня остались знакомства ещё с дореволюционных времён. В девятьсот двенадцатом году мой учитель, академик Соболевский, получил письмо от одного старообрядческого начётника из-под Вятки. Начётник писал, что в их краях есть капища, которых нет ни на одной карте, и что тамошние старики помнят слова «кереку» и «жатва». Соболевский тогда отмахнулся — знаете, как это бывает в академической среде: суеверия, деревенские сказки. Но я запомнил. А потом, в тридцать седьмом, когда начали чистить академии, все, кто хоть что-то слышал о кереку, исчезли. Я остался жив только потому, что никогда не упоминал этого слова вслух. До сегодняшнего дня.

— Вы говорите «жатва», — перебил его Ярцев. — Что это значит?

— Не знаю. — Шестаков беспомощно развёл руками. — В том письме начётника говорилось: «Когда придёт время жатвы, кереку восстанут и соберут свой урожай». Я думал, что это метафора. Но теперь... — он кивнул в сторону костра, где догорали скелеты, — теперь я думаю, что это не метафора. Это инструкция.

Ярцев вспомнил рисунок на стене погребальной камеры — фигура у алтаря, три линии, соединяющие её с тремя лежащими телами. Инструкция.

— Что ещё говорилось в том письме?

— Я не помню дословно. Письмо было изъято в тридцать седьмом вместе с остальными бумагами Соболевского. Но одна фраза врезалась мне в память. Начётник писал: «Они могут вселяться в живых и менять свою природу. И тот, в кого они вселятся, уже не будет человеком, но станет вместилищем». И ещё он писал, что серебро — единственное, что их удерживает. Что серебряные цепи, освящённые особым образом, могут запереть кереку в мёртвом теле навсегда. Но если цепь снять — они проснутся.

Ярцев медленно выпрямился. Серебряные цепи. Освящённые. Он вспомнил, как Стеклов фотографировал эти цепи в камере, и как они тускло блестели в свете фонарей, несмотря на тысячелетнюю патину. Вспомнил, как они обвивали шейные позвонки, рёбра, таз — словно тот, кто их надевал, знал, что сковывает не просто кости, а что-то другое.

— Кто мог их заковать? — спросил он.

— Согласно некоторым апокрифам, — Шестаков понизил голос до шёпота, — это сделали жрецы-отступники. Те, кто поклонялся кереку, а потом испугался их силы. Они заманили трёх полубогов в человеческие тела и заковали их в серебро. А потом убили. Точнее — похоронили заживо, потому что убить кереку, пока он в теле, нельзя. Он просто ждёт.

— Чего ждёт? — спросил Громов. Он произнёс это спокойно, но пальцы его правой руки сжались на ремне винтовки.

— Того, кто его разбудит, — ответил Шестаков. — Того, кто прольёт кровь на алтарь.

Наступила тишина, нарушаемая только треском догорающего костра. Ярцев выпрямился, отряхнул колени и посмотрел на профессора сверху вниз. В его голове уже крутился калейдоскоп вопросов: кто был этот начётник, сохранились ли копии письма, где находятся другие капища, какие архивы ещё не уничтожены. Но времени на всё это не было. Немцы стояли в двенадцати километрах отсюда, и если Шестаков прав, то к кургану они придут не за золотом.

— Профессор, — сказал он наконец, — вы поедете с нами в Москву. Ваши знания слишком ценны, чтобы оставлять вас здесь. Люди из вашей экспедиции, — он кивнул в сторону рабочих, — будут эвакуированы в тыл. Все записи, дневники, зарисовки — изъяты и засекречены. Отныне всё, что вы видели и знаете, является государственной тайной особой важности. Вы меня понимаете?

Шестаков поднял на него воспалённые глаза.

— Я понимаю, товарищ старший майор. Но есть ещё кое-что.

— Что?

— Когда мои рабочие спустились в камеру в первый раз и увидели алтарь, один из них — Селиванов, он сейчас в лазарете, — сказал мне странную вещь. Он сказал, что камень... дышал. Он сказал: «Профессор, он как будто ждал нас. Как будто знал, что мы придём». Я тогда подумал — бред, переутомление. А теперь я не знаю, что думать.

Ярцев переглянулся с Громовым. Тот молчал, но в его глазах читалось то же, что и у старшего майора: «Это не бред. Это подтверждение».

— Мы разберёмся в Москве, — сказал Ярцев твёрдо. — А пока приказываю: никому не говорить о том, что вы здесь видели. Вы учёный, профессор, и вы привыкли делиться знаниями. Но сейчас знание — это оружие. И оно должно оставаться в надёжных руках. — Он сделал паузу. — В наших руках.

Шестаков кивнул и тяжело, с видимым усилием, поднялся с бревна. Его пошатывало, но он всё же нашёл в себе силы выпрямиться.

— Я пойду собирать бумаги, — сказал он. — Там, в палатке, есть ещё несколько зарисовок рун. Я хотел бы их сохранить.

— Сохраняйте. Но помните: гриф секретности.

Шестаков побрёл к палаткам, и его сутулая фигура вскоре растворилась в сумерках. Ярцев и Громов остались у грузовика вдвоём.

— Что думаешь? — спросил Ярцев, не глядя на Громова.

— Думаю, что мы вскрыли не просто могилу, товарищ старший майор. Мы вскрыли темницу. — Громов помолчал. — И ещё я думаю, что один из наших людей это почувствовал.

— Чугунов? Пётр?

— Да. Вы заметили, как он смотрел на алтарь? Он стоял и не мог оторвать глаз. Михаил его дважды окликал — он не слышал. А когда алтарь упаковывали, Пётр отошёл в сторону, и его трясло. Я подошёл спросить, в чём дело, а он ответил: «Ни в чём, товарищ лейтенант. Просто холодно». Но на дворе август, и все мы взмокли, пока таскали ящики. Ему не холодно. Ему что-то другое.

Ярцев задумчиво потёр подбородок. Синхронность близнецов, их странная связь, о которой он уже начал догадываться, и этот неестественный интерес Петра к алтарю — всё складывалось в картину, которая ему не нравилась. Он вспомнил слова Берии: «Слабость в этом

деле смерти подобна». Но Пётр не был слабым — он был восприимчивым. А это, возможно, ещё хуже.

— Присматривай за ним, — сказал он наконец. — Обоими. И докладывай мне о любой странности.

— Так точно.

— И ещё, Громов.

— Слушаю.

— Ты сам-то как? Тебя ничего не тревожит?

Громов ответил не сразу. Он посмотрел на запад, где над лесом всё ещё полыхало багровое зарево — то ли закат, то ли дальние пожары, — и сказал тихо:

— Меня тревожит всё, товарищ старший майор. Но я привык.

Ярцев кивнул и похлопал его по плечу. Через полчаса колонна из двух грузовиков и легкового автомобиля выехала по разбитой дороге на восток. В кузове головной машины, в ящике с войлочной обивкой, ехал чёрный алтарь — молчаливый, тяжёлый, пропитанный тысячелетней тьмой. А в кабине, глядя в темноту за окном, сидел Пётр Чугунов, и его чёрные глаза, казалось, видели в этой темноте что-то, чего не видел никто другой.

Глава 2. Голод

Секретная лаборатория, которую НКВД организовало в подмосковных Химках, располагалась в старом кирпичном здании бывшей красильной фабрики, реквизированной у владельцев ещё в девятнадцатом. Снаружи оно выглядело заброшенным — выбитые окна нижних этажей, облупившаяся штукатурка, заржавевшие ворота, — но под землёй, в трёхъярусном подвале, кипела работа, которой не знала ни Академия наук, ни Наркомат обороны. Здесь, под толщей бетона и двойной шумоизоляцией, осенью сорок первого года решалась та часть войны, о которой не писали сводки Совинформбюро.

Был конец сентября. Немцы стояли уже под Вязьмой, и по ночам, если подняться на крышу, можно было видеть далёкие зарницы артиллерийских дуэлей. Но в подземной лаборатории царила своя, искусственная ночь — без окон, без естественного света, под мерное гудение трансформаторов и приглушённый стук пишущей машинки в комнате дежурного офицера.

Невзоров работал один в главном экспериментальном зале. Он снял китель и остался в белом халате поверх гимнастёрки, но даже халат не спасал от духоты — вентиляция, рассчитанная на красильные чаны, не справлялась с теплом, которое выделяли лампы накаливания и электрические печи. На лбу физика блестели капли пота, но он их не замечал. Всё его внимание было сосредоточено на чёрном камне, который покоился на массивном дубовом столе в центре зала.

Алтарь установили на специальной подставке из текстолита, чтобы исключить паразитные токи. Вокруг него полукругом выстроились приборы: осциллограф с зелёным глазком, самописец, термопара, подключённая к гальванометру, несколько стеклянных колб с реактивами, микроскоп Цейса и портативный рентгеновский аппарат, который Невзоров собрал сам из трофейных деталей. Всё это хозяйство опутывали провода, шланги и кабели, делавшие зал похожим на операционную в футуристическом госпитале.

Невзоров взял со столика стеклянную пробирку с тёмно-красной, почти бурой жидкостью — кровью барана, взятой на бойне четыре часа назад. Он аккуратно, почти молитвенным жестом, наклонил пробирку над центральным желобком алтаря. Капля упала на чёрную поверхность, растеклась, на мгновение задержалась и впиталась в камень — но нет, не впиталась, просто стекла в углубление, не оставив ни следа. Ни свечения, ни изменения температуры. Самописец вычертил ровную линию. Осциллограф показал лишь тепловой шум ламп.

— Ничего, — констатировал физик, выпрямляясь и записывая результат в журнал. Почерк у него был убористый, с наклоном влево — привычка, выработанная годами работы с лабораторными протоколами. — Образец номер семь: кровь баранья, свежая. Реакции нет. Температура камня — двадцать два и три десятых градуса по Цельсию, что соответствует температуре окружающего воздуха. Никаких электромагнитных импульсов в диапазоне от трёх герц до ста мегагерц.

Ярцев стоял у стены, скрестив руки на груди. Он не вмешивался в процесс, понимая, что учёному нужно пространство для манёвра, но его терпение было не бесконечным. Прошло уже больше месяца с момента извлечения алтаря из кургана, а они не продвинулись ни на шаг. Камень молчал. Профессор Шестаков, которого разместили в соседнем корпусе, писал бесконечные отчёты о «знаках Коляды», но практического выхода его изыскания не давали. Немцы, по данным разведки, уже заняли Гнездово и, вероятно, обнаружили выпотрошенный курган. Счёт шёл на дни.

— Продолжайте, Алексей Дмитриевич, — сказал Ярцев. — Человеческая кровь.

Невзоров вздохнул. Он достал вторую пробирку — с кровью человека, взятой у добровольца из числа лаборантов. Капля упала в желобок. Ничего. Третья пробирка — кровь трупная, взятая в морге. Четвёртая — смешанная с физиологическим раствором. Пятая — подо-

гретая до температуры тела. Шестая — кровь того самого лаборанта, но после того, как он двое суток не спал (Невзоров лично проверял теорию о «резонансе усталости»).

Алтарь не отвечал.

— Может быть, ему нужен непосредственный контакт с живой тканью? — предположил Ярцев.

— Я пробовал, — ответил Невзоров, кивая на стоявшую в углу клетку с мёртвым кроликом. — Подносил ухо, лапу, кусочек печени. Никакой реакции. Я даже помещал на алтарь живую мышь — она пробежала по камню, как по столу, и даже не пискнула. Алтарь инертен, товарищ старший майор. Он не реагирует ни на кровь, ни на ткани. Это просто кусок полированного базальта с высокой примесью окислов железа и титана. Ничего сверхъестественного.

— Но вы же знаете, что это не просто кусок базальта, — тихо сказал Ярцев.

Невзоров промолчал. Он действительно знал. Когда они только доставили алтарь в лабораторию и он впервые прикоснулся к нему голой рукой, то почувствовал что-то — лёгкую, едва уловимую вибрацию, как будто в глубине камня работал крошечный механизм. Но приборы ничего не зарегистрировали. С тех пор он повторял этот опыт каждую ночь, тайком, когда Ярцев уходил, и каждый раз ощущал вибрацию — но только рукой, не через перчатки, не через инструменты. Камень, казалось, различал живое и мёртвое. Но на этом всё и заканчивалось.

— Мы идём не с того конца, — заговорил вдруг Громов, который всё это время сидел в углу на табурете и молча чистил свой ТТ. Он поднял глаза и встретился взглядом с Ярцевым. — Профессор Шестаков сказал: «Когда придёт время жатвы, кереку восстанут и соберут свой урожай». И ещё он сказал: «Того, кто прольёт кровь на алтарь». Но не уточнил — чью. Может быть, дело не в том, какую кровь проливают, а в том, кто её проливает? Или в том, как это делается?

— Ритуал, — произнёс Ярцев. Он произнёс это слово без тени скепсиса, как математик, принимающий неудобную, но неизбежную аксиому. — Вы имеете в виду, что нужен не просто биологический материал, а определённая последовательность действий. Слова. Жесты.

— Или состояние, — добавил Невзоров. — Шестаков упоминал, что кереку могли вселяться в живых. Возможно, для активации алтаря нужен живой человек. Не просто кровь в пробирке, а целостный организм. Носитель.

В зале повисла тишина. Трансформаторы гудели, самописец тихо потрескивал, вычерчивая прямую линию. Ярцев подошёл к алтарю и положил на него ладонь — без перчатки. Камень был холодным и гладким, как полированный лёд. Никакой вибрации он не почувствовал. Но Громов заметил, как старший майор задержал руку дольше, чем требовалось, и как его зрачки на мгновение расширились.

— Вы правы, — сказал Ярцев, отнимая ладонь. — Нужен живой человек. — Он повернулся к Невзорову. — Готовьте протокол для эксперимента с участием подопытного. Не добровольца. Материал.

Невзоров побледнел. Он был учёным, но он был и человеком, и слово «материал» резануло его по живому.

— Борис Савельевич... — начал он, но Ярцев прервал его коротким, почти механическим жестом.

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Но я напому вам, Алексей Дмитриевич, что немцы стоят под Москвой. Если то, о чём писал Шестаков, правда, и если они найдут способ воскрешать своих солдат или создавать неуязвимых бойцов, то погибнут не один-два заключённых из лагеря, а миллионы. Миллионы наших людей. Вы готовы взять на себя ответственность за это промедление?

Невзоров молчал. Его руки, лежавшие на лабораторном журнале, мелко подрагивали.

— Вы предлагаете убить человека, — тихо произнёс он.

— Нет, — отрезал Ярцев. — Я предлагаю провести научный эксперимент с участием живого организма, который может привести к открытию, способному переломить ход войны. Если испытуемый погибнет — это будет трагическая, но неизбежная потеря. Если нет — мы получим данные, которые невозможно получить иначе.

— А если алтарь действительно заработает? — спросил Громов. Он задал этот вопрос так спокойно, словно речь шла о тактике предстоящего боя.

Ярцев посмотрел на него долгим, изучающим взглядом.

— Тогда мы получим оружие, лейтенант. Оружие, которого ещё не знала история. И мы будем обязаны научиться им управлять.

Громов кивнул, но в его серых глазах застыло что-то, чего Ярцев не смог расшифровать. Возможно, согласие. Возможно, приговор.

— Я прикажу доставить двоих осуждённых из Дмитровского лагеря, — продолжал Ярцев. — Приговорённые к высшей мере за дезертирство и мародёрство. Их всё равно должны были расстрелять. Так пусть их смерть послужит делу победы. Эксперимент проведём завтра, в двадцать два ноль-ноль. Подготовьте необходимое оборудование для мониторинга жизненных показателей. Кардиограф, энцефалограф, если сможете раздобыть. И фотокамеру. Всё должно быть задокументировано.

— Кто будет присутствовать? — спросил Невзоров глухо.

— Я. Вы. Громов. Стеклов — для протоколирования. Охрану выставить за дверь. Никому не входить, что бы ни случилось.

— А если... — Невзоров запнулся, — если что-то пойдёт не так? Если то, что выйдет из алтаря, попытается выйти из зала?

Ярцев улыбнулся — впервые за этот вечер. Но улыбка эта была холодной, как камень, на который он только что смотрел.

— На этот случай у нас есть серебро, Алексей Дмитриевич. Я распорядился переплавить те самые цепи, что были на скелетах. Из них уже отлили пули для ТТ и несколько пластин. Если потребуется — мы используем их.

Он повернулся и, не прощаясь, вышел из зала. Его шаги затихли в коридоре. Невзоров и Громов остались вдвоём у алтаря.

— Он сумасшедший, — сказал физик едва слышно. — Он собирается открыть ящик Пандоры и думает, что сможет его закрыть.

— Он не сумасшедший, — ответил Громов, подходя к столу и глядя на чёрный камень. — Он одержимый. А это другое. Одержимые не закрывают ящики, Алексей Дмитриевич. Они в них живут.

Невзоров ничего не ответил. Он смотрел на алтарь и снова чувствовал ту же вибрацию — едва уловимую, на грани восприятия, как будто внутри камня билось чьё-то сердце. Или чьё-то нетерпение.

За окнами, наверху, выла сирена воздушной тревоги. Но здесь, под землёй, её почти не было слышно. Только гул трансформаторов, треск самописца и тихий, почти неслышимый шёпот камня, ожидающего своей первой жертвы.

Двадцать второе сентября тысяча девятьсот сорок первого года навсегда врезалось в память каждого, кто находился в ту ночь в подземной лаборатории под Химками. Даже те, кто потом пытался забыть — а пытались многие, и некоторым это почти удалось, — просыпались в холодном поту, стоило лишь сомкнуть веки и снова увидеть тот самый чёрный туман, поднимающийся из алтаря.

Подготовка началась в восемь вечера. Невзоров лично проверил всю аппаратуру трижды — так, как не проверял даже перед защитой диссертации. Кардиограф, подключённый к испытуемому через наконечники электроды, выводил на закопчённую бумагу ровную синусоиду. Энцефалограф, собранный накануне из трофейного немецкого усилителя и осциллографа, мерцал

зелёной линией на круглом экране. Три фотокамеры «ФЭД» были заряжены и установлены на штативах под разными углами. Киносъёмочный аппарат «Кинап» стрекотал в углу, фиксируя происходящее на чёрно-белую плёнку — Ярцев распорядился снимать от начала и до конца.

В двадцать один сорок пять в зал ввели заключённого.

Это был мужчина лет сорока, с серым, измождённым лицом и затравленным взглядом, какой бывает у людей, прошедших в лагере больше года. Из документов, которые Стеклов подшил к протоколу, следовало, что осуждённый К. — бывший колхозный бригадир из-под Тамбова, приговорённый к высшей мере за хищение зерна в особо крупных размерах. Приговор был утверждён тройкой и должен был быть приведён в исполнение через неделю. Ему сказали, что если он согласится участвовать в «медицинском эксперименте», его семье выдадут пособие. Он согласился, хотя, глядя на приготовления, уже, кажется, догадывался, что пособие это будет вдовым.

На нём была чистая холщовая рубаха без ворота — чтобы электроды кардиографа можно было крепить прямо к коже. Руки связаны за спиной, но не туго — так, чтобы он мог стоять и, если потребуется, лечь на стол. Охранники — двое сержантов из внутренних войск — подвели его к столу с алтарём и отошли к двери, получив приказ не вмешиваться ни при каких обстоятельствах.

Ярцев стоял у изголовья стола, прямой, как штык. Его лицо не выражало ни волнения, ни сомнения — только сосредоточенность хирурга перед первым надрезом. Стеклов сидел за отдельным столом с протоколом, и его ручка уже зависла над бумагой. Громов занял позицию в углу, у двери, положив руку на кобуру — но не расстегнув её. Невзоров в последний раз проверил показания приборов и кивнул.

— Эксперимент номер один, — произнёс он, и его голос дрогнул, но он справился с собой. — Двадцать второе сентября, двадцать два ноль-ноль. Объект воздействия — каменный артефакт, извлечённый из кургана номер семнадцать под Гнездово. Субъект — мужчина, сорок три года, группа крови третья. Цель эксперимента — установить наличие или отсутствие реакции артефакта на контакт с живой человеческой кровью.

Ярцев кивнул Стеклову:

— Начинайте.

Стеклов подошёл к столу. В руке у него был скальпель — тонкий, острый, хирургический, взятый из лабораторного набора. Заключённый, увидев лезвие, дёрнулся, но охранники удержали его.

— Не бойся, — сказал Ярцев, и голос его был почти отеческим. — Мы просто возьмём немного крови. Как в больнице.

Это была ложка, и все в зале это понимали. В больнице не привязывают людей к столам перед чёрным камнем. В больнице не снимают происходящее на киноплёнку. Но заключённый, кажется, всё ещё цеплялся за эту ложку, как утопающий за соломинку.

Стеклов провёл скальпелем по предплечью заключённого. Кровь выступила тёмной, почти чёрной в свете ламп полосой и закапала на алтарь. Капля. Вторая. Третья.

Первые три секунды ничего не происходило. Невзоров смотрел на осциллограф — ровная линия. Смотрел на кардиограф — пульс заключённого участился, но это была естественная реакция на стресс. Смотрел на термомпару — температура камня двадцать два и четыре десятых.

А потом алтарь задышал.

Именно это слово первым пришло в голову Громову, и он потом записал его в своём личном дневнике, который никому не показывал. Камень не засветился, не завибрировал, не издал звука. Он именно что выдохнул — и из центрального углубления, куда упала кровь, начал подниматься туман.

Чёрный. Густой, как нефть. Он не рассеивался, как обычный дым, а держался компактной массой, медленно вращаясь вокруг своей оси. Он поднимался всё выше, и в какой-то момент присутствующие поняли, что туман этот не отражает свет, а поглощает его. Лампы в зале, казалось, потускнели. Тени на стенах удлинились и зашевелились, хотя никто из людей не двигался.

Заключённый закричал. Это был не крик боли — скорее, крик животного ужаса, какой издаёт зверь, понимающий, что попал в капкан. Он попытался вырваться, но путы держали крепко.

А туман тем временем начал принимать форму. Сначала бесформенное облако вытянулось вверх, затем уплотнилось в центре, и в нём проступили очертания: плечи, голова, руки. Человеческая фигура, сотканная из тьмы, стояла над алтарём, и у неё не было лица — только провал там, где должно было быть лицо, и два тусклых, багровых огонька на месте глаз.

Невзоров застыл у приборов, забыв про осциллограф, про кардиограф, про всё на свете. Его губы беззвучно шевелились — то ли молитва, то ли матерная брань, то ли и то и другое вместе. Стеклов отступил на шаг, и его стул с грохотом опрокинулся. Громов выхватил ТТ, но не выстрелил — он ждал команды, и его рука, сжимавшая рукоять, была единственной неподвижной точкой во всём зале.

А Ярцев... Ярцев смотрел. Он стоял в двух шагах от алтаря, и его глаза горели тем самым огнём, который бывает только у людей, увидевших подтверждение своей величайшей догадки.

Фигура в тумане подняла руку — призрачную, колеблющуюся, но несомненно руку — и потянулась к заключённому. Тот забился в конвульсиях. Кардиограф взбесился: синусоида запрыгала, заметалась по бумаге и через несколько секунд превратилась в прямую линию. Заключённый обмяк. Его глаза, широко раскрытые, остекленели, и в них застыло выражение такого ужаса, какого живущие не должны видеть.

Туман начал втягиваться обратно в алтарь. Медленно, нехотя, как вода, уходящая в слив. Багровые огоньки погасли. Фигура потеряла очертания, сжалась до размеров облака, затем до маленького сгустка и исчезла в углублении камня. Лампы снова зажглись в полную силу. Тени вернулись на свои законные места. В зале воцарилась тишина, нарушаемая только стрекотом киноаппарата, который продолжал снимать, и ровным, высоким гудением осциллографа, который теперь показывал прямую линию.

Прямую линию. Остановка сердца.

Невзоров первым нарушил молчание. Он подошёл к заключённому на негнущихся ногах, пощупал пульс, поднял веко, посветил фонариком в зрачок. Зрачок не реагировал.

— Мёртв, — сказал он, и его голос прозвучал глухо, как из бочки. — Остановка сердца. Смерть наступила мгновенно.

Ярцев медленно, очень медленно повернулся. И Невзоров, который знал его не первый год, ожидал увидеть на его лице что угодно — разочарование, страх, потрясение. Но старший майор госбезопасности Борис Савельевич Ярцев улыбался.

— Он жив, — сказал Ярцев.

— Что? — Невзоров подумал, что ослышался. — Борис Савельевич, человек мёртв. Остановка сердца. Я констатирую смерть.

— Да не человек, — отмахнулся Ярцев. — Оно. То, что в алтаре. Оно живо. Мы разбудили его. Понимаете? — Он шагнул к столу и положил ладонь на чёрный камень, и на этот раз, Невзоров мог бы поклясться, Ярцев почувствовал то же, что и он сам в первую ночь: вибрацию. Глубокую, низкую, как далёкий гул подземных вод. — Мы разбудили его, Алексей Дмитриевич. Теперь надо научиться им управлять.

— Управлять? — Громов шагнул вперёд, всё ещё сжимая ТТ. Его лицо оставалось спокойным, но голос резанул сталью. — Товарищ старший майор, вы только что видели, как эта...

эта штука убила человека одним прикосновением. Какое «управлять»? Её нужно уничтожить. Залить бетоном, сбросить в шахту, взорвать к чёртовой матери — всё, что угодно, но не...

— Лейтенант, — перебил его Ярцев, и в его голосе зазвенел тот самый командирский металл, который не терпит возражений, — вы видели то же, что и я. Вы видели, как из камня вышла сущность, способная убить человека без единого выстрела. А теперь представьте, что эта сущность подчиняется нам. Представьте, что мы можем направить её на немецкие окопы. На их штабы. На их генералов. Вы понимаете, что это значит?

Громов ничего не ответил. Он смотрел на Ярцева, и в его серых глазах читалось то, что он не мог высказать вслух: «Вы сошли с ума. Вы разбудили демона и хотите запрячь его в телегу».

Ярцев выдержал его взгляд и ответил на него — тоже без слов: «Плевать. Война всё спишет».

— Капитан Стеклов, — скомандовал Ярцев, — зафиксируйте в протоколе: эксперимент номер один завершён. Результат положительный. Артефакт проявил активность в ответ на контакт с живой человеческой кровью. Испытуемый скончался в результате остановки сердца. Тело передать в морг для вскрытия.

— Что писать о причине активности? — спросил Стеклов, и его ручка зависла над бумагой.

— Пока ничего. Просто «активность зафиксирована». Теоретическую часть я напишу позже.

Ярцев повернулся к Невзорову:

— Алексей Дмитриевич, вы проверили все параметры. Какова природа тумана? Что это было?

Невзоров откашлялся. Он всё ещё был бледен, но профессиональная привычка брала своё.

— Я не знаю, Борис Савельевич. Это не газ — газ бы рассеялся. Это не пар — температура камня не менялась. Больше всего это похоже на... — он запнулся.

— На что?

— На плазму. Но холодную плазму, что противоречит законам физики. И ещё... — он показал на плёнку кардиографа, — перед остановкой сердца у заключённого зафиксирован всплеск электрической активности мозга, в триста раз превышающий норму. Как будто его мозг пытался обработать сигнал невероятной мощности. И не смог.

— То есть сущность убила его через мозг?

— Возможно. Или через нервную систему. Или... — Невзоров посмотрел на алтарь, и ему показалось, что камень смотрит на него в ответ. — Или она забрала что-то, без чего человек не может жить. Душу, если хотите.

Ярцев усмехнулся.

— Душа — ненаучное понятие, Алексей Дмитриевич. Но если это так, то тем лучше. Значит, наша сущность питается душами. И если мы сможем давать ей души наших врагов, она станет нашим союзником.

— Вы говорите о ней, как о живой, — заметил Громов.

— А она и есть живая. Вы же сами слышали Шестакова. Кереку — полубоги. Они не умирают. Они ждут. — Ярцев снова посмотрел на алтарь, и в его глазах появился тот самый нездоровый блеск, который Громов уже видел у Петра Чугунова в кургане. — И мы их дождались.

Он одёрнул китель и направился к выходу.

— Завтра продолжим. Готовьте второго заключённого. И на этот раз пусть охрана будет с серебряными пулями — на всякий случай. Спокойной ночи, товарищи.

Дверь за ним закрылась, и в зале снова повисла тишина. Стеклов, не говоря ни слова, начал убирать протокол в папку. Невзоров сидел у приборов, обхватив голову руками. А Гро-

мов подошёл к алтарю и долго смотрел на его чёрную поверхность, в которой теперь, казалось, навсегда поселилась тьма — не каменная, а живая.

— Что ты такое? — прошептал он.

Камень молчал. Но где-то в его глубине, на грани слышимости, Громову почудился ответ: даже не слово, не мысль — ощущение. Ощущение голода. И обещание скорой жатвы.

Глава 3. Трещина

Лагерь экспедиции «Заря» разместился в бывшей помещичьей усадьбе в трёх километрах от лабораторного корпуса. От усадьбы осталось немного: каменный флигель с прохудившейся крышей, которую наспех залатали толем, конюшня, переоборудованная под гараж, да старый яблоневый сад, уже наполовину вырубленный на дрова. Октябрь в том году стоял холодный, с ранними заморозками, и по утрам трава покрывалась серебристым инеем, который хрустел под сапогами.

Братья Чугуновы жили в крошечной комнате на втором этаже флигеля — бывшей людской, где помещались только две железные койки, стол, табурет и печка-буржуйка, которую они топили по ночам обломками яблоневых веток. Комната была угловой, с одним окном, выходящим на восток, и каждое утро, когда солнце только начинало подниматься над лесом, Михаил просыпался первым и смотрел, как его брат спит на соседней койке.

Они были близнецами — настоящими, однойцевыми, из тех, кого даже родители различают только по родинке на мочке уха. У Михаила родинка была на левом ухе, у Петра — на правом. В остальном — одно лицо на двоих: широкие скулы, выдающие вятскую кровь, прямой нос с лёгкой горбинкой, светлые волосы, которые они стригли коротко, по-армейски. Одинаковый рост — метр семьдесят восемь. Одинаковый разворот плеч. Даже голоса, когда они говорили по телефону, путали те, кто знал их не первый месяц.

Но характеры были разные. И с каждым днём, проведённым в группе «Заря», эта разница проступала всё резче, как рисунок на фотопластинке, опущенной в проявитель.

Михаил был старшим. Всего на двадцать минут — но в их семье эти двадцать минут всегда считались чем-то вроде священного рубежа. «Ты старший, — говорил отец, уходя на фронт в июле сорок первого (и уже не вернувшийся — похоронка пришла в сентябре, под Ельней). — Ты за него в ответе». И Михаил запомнил. Он всегда был спокойным, рассудительным, тем, кто думает, прежде чем сделать. В школе он решал задачи по математике, пока Пётр лез в драку с мальчишками из соседней деревни. В военкомате он выбрал снайперскую школу, потому что снайпер — это терпение, расчёт, выдержка. Он умел ждать часами, лёжа в засаде, не шевелясь, сливаясь с местностью, и за это его ценили командиры.

Пётр был младшим — и всю жизнь пытался доказать, что двадцать минут ничего не значат. Он был импульсивным, горячим, жестоким в бою и щедрым в минуты затишья. Он мог последние папиросы раздать незнакомым бойцам, а через минуту сломать челюсть тому, кто косо посмотрел. В снайперскую школу он пошёл за братом — не потому, что хотел, а потому, что не мыслил себя отдельно. Но его снайперский почерк был другим: он стрелял быстро, почти не целясь, полагаясь на какую-то звериную интуицию, и попадал. Всегда попадал. Инструкторы только качали головами — так не учат, так нельзя, но у Петра получалось.

— Ты когда-нибудь думаешь, прежде чем нажать на спуск? — спросил его однажды Михаил после очередных учений.

— А зачем? — удивился Пётр. — Я просто знаю, куда летит пуля. Оно само как-то.

И ведь не врал. Михаил проверял его на стрельбище: Пётр действительно стрелял лучше, быстрее, интуитивнее. Но именно это и пугало Михаила — интуиция брата была не просто талантом. Она была какой-то... потусторонней.

В то утро, после ночной смены в лаборатории, Михаил проснулся рано и сразу почувствовал: что-то не так. Он повернул голову и увидел, что Пётр сидит на койке, обхватив колени руками, и смотрит в одну точку на стене. Глаза у него были открыты, но взгляд — отсутствующий, как у человека, который видит сон наяву.

— Петька, — окликнул его Михаил.

Брат не ответил.

— Пётр!

Тот вздрогнул, словно его ударило током, и резко повернул голову. На секунду Михаилу показалось, что зрачки брата — неестественно широкие, почти во весь глаз, — но Пётр моргнул, и всё прошло.

— Ты чего? — спросил Михаил, садясь на койке.

— Ничего. — Пётр потёр лицо ладонями. — Просто... сон приснился. Странный.

— Какой?

Пётр помолчал, подбирая слова. Он вообще говорил хуже брата — не то чтобы косноязычно, но как-то тяжеловерсно, будто каждую фразу приходилось выталкивать из себя.

— Будто я стою в поле. Зима. Снег чёрный. И вокруг люди — мёртвые, много. А я иду между ними и знаю, что они все мои. Ну, в смысле, я их убил. И мне... — он запнулся, — мне хорошо.

Михаил ничего не сказал, но внутри у него похолодело. Он вспомнил, как три дня назад они сопровождали Ярцева в лабораторию, и Пётр, проходя мимо двери в главный зал, вдруг остановился как вкопанный.

— Ты чего? — спросил тогда Михаил.

— Там, — сказал Пётр, кивнув на дверь. — Камень. Он... зовёт.

— Что значит «зовёт»?

— Не знаю. Просто... зовёт. Как будто моё имя шепчет.

Тогда Михаил списал это на усталость. Но сегодня, глядя на брата, сидевшего на койке с затравленным, растерянным лицом, он понял: это не усталость. Это что-то другое.

Они оделись молча, как привыкли за двадцать один год совместной жизни — слаженно, не мешая друг другу, иногда даже не глядя протягивая нужную вещь. Михаил достал из-под подушки наган — старенький, ещё отцовский, с потёртой рукояткой. Пётр проверил свою винтовку — трёхлинейку с оптическим прицелом, которую он чистил каждый вечер.

— Слушай, — сказал Михаил, застёгивая ремень, — ты бы держался подальше от этой... штуки. От алтаря.

— Почему?

— Потому что она тебя... — он хотел сказать «меняет», но передумал. — ...отвлекает.

Пётр усмехнулся, но усмешка вышла кривая.

— Меня не отвлекает. Наоборот. Когда я рядом с ним, я чувствую себя сильнее. Как будто внутри что-то просыпается.

— Вот этого я и боюсь, — тихо сказал Михаил.

Они спустились вниз, где в бывшей гостиной уже была устроена общая столовая. За длинным столом, сколоченным из досок, сидели Стеклов, угрюмо жующий хлеб с тушёнкой, и Невзоров, который даже за завтраком не расставался с блокнотом и что-то в нём рассеянно чертил. Громов стоял у окна, пил чай из железной кружки и смотрел на заиндевший сад.

— Чугуновы, — кивнул он, заметив братьев. — Как спалось?

— Нормально, — ответил Михаил, садясь за стол.

— А мне не спалось, — вдруг сказал Пётр, и все в комнате повернулись к нему. — Мне вообще в последнее время плохо спится. Сны дурацкие.

— Какие? — спросил Громов.

Пётр пожал плечами:

— Да всякие. То война, то кровь. То будто я не я, а кто-то другой. Кто-то... старый. Очень старый.

Стеклов и Невзоров переглянулись. Громов сделал глоток чая и ничего не сказал, но его серые глаза смотрели на Петра с тем самым изучающим выражением, которое Михаил уже привык замечать у лейтенанта.

После завтрака, когда братья вышли во двор покурить, к ним подошёл Ярцев. Он был в полевой форме, без шинели, несмотря на холод, и его бледное лицо раздурманилось от утреннего воздуха. В руке он держал планшет.

— Чугуновы, — сказал он, подходя, — как настроение?

— Боевое, товарищ старший майор, — ответил Пётр с той лихостью, которая у него появлялась всегда при начальстве.

— Вот и хорошо. — Ярцев пристально посмотрел на Петра, потом перевёл взгляд на Михаила. — Вы знаете, что я за вами наблюдаю.

— Знаем, — сказал Михаил спокойно.

— И вы, наверное, заметили, что я подмечаю некоторые... странности.

Братья переглянулись. Ярцев продолжал:

— Вы неразлучны. Вы чувствуете друг друга на расстоянии. Когда один ранен, другой вздрагивает. Когда один злится, у второго сжимаются кулаки. Я проверял: три дня назад, когда Пётр порезал руку об жестянку, Михаил, который был в другом конце лагеря, вдруг схватился за то же самое место. Я запросил ваши личные дела — там есть отметки медкомиссии: «повышенная психофизиологическая синхронность». Это очень редкое явление, товарищи лейтенанты. Очень редкое. И очень ценное.

— Ценное для чего? — спросил Михаил, и его голос прозвучал жёстче, чем он хотел.

Ярцев улыбнулся — той самой своей холодной улыбкой, от которой у Громова, по его собственным словам, мурашки шли по спине.

— Для науки, лейтенант. Для победы. Для нашего общего дела. — Он помолчал, разглядывая их, как разглядывают породистых лошадей на ярмарке. — Вы двое — не просто хорошие снайперы. Вы — природный феномен. Ваша связь может стать ключом к пониманию того, как работает резонанс.

— Какой резонанс? — спросил Пётр.

— Резонанс душ, — ответил Ярцев, и это прозвучало почти поэтично, если бы не стальной блеск в его глазах. — Тот самый, о котором писал Шестаков. Кереку вселяются в живых и меняют их природу. Но чтобы управлять этим процессом, нужен «якорь» — человек, который удержит сущность от полного слияния с носителем. Мне кажется, вы двое идеально подходите для этого. Один станет носителем. Второй — якорем.

Михаил шагнул вперёд, заслонив брата плечом.

— Мы не подопытные, товарищ старший майор. Мы солдаты. Наше дело — воевать, а не...

— Ваше дело — выполнять приказы, — перебил его Ярцев, и голос его в одну секунду сменил тон с почти-отеческого на командирский. — Я не спрашиваю вашего согласия, лейтенант. Я информирую вас о том, что вы находитесь под особым наблюдением. Когда придёт время, вы оба понадобится проекту. А пока — служите, как служили. Охрана, патрулирование, сопровождение. Никакой самостоятельности.

Он развернулся и пошёл к флигелю, но у двери остановился и бросил через плечо:

— И ещё. Вы оба работаете на победу. Забудьте о братских чувствах. Они только помеха.

Дверь за ним хлопнулась. Пётр стоял, глядя ему вслед, и его лицо постепенно темнело — не от гнева, а от чего-то другого, что Михаил не мог определить.

— Он прав, — сказал вдруг Пётр.

— Что? — Михаил резко повернулся к брату.

— Он прав, Миша. — Пётр говорил медленно, глядя в землю. — Я чувствую. Я чувствую, что могу стать чем-то большим, чем просто снайпер. Я не знаю, как это объяснить... Когда я был рядом с алтарём, я слышал голос. Не ушами — внутри. Он говорил, что я избран. Что я могу стать сверхчеловеком.

— Петька, опомнись! — Михаил схватил брата за плечи и встряхнул. — Это не сверхчеловек! Это смерть! Ты видел, что случилось с тем заключённым? Его сердце остановилось за три секунды!

— Потому что он был слаб. — Пётр поднял глаза, и Михаил увидел в них то, чего никогда не видел раньше: не просто упрямство, не просто горячность. Голод. Тот самый голод, который поселился в чёрном камне и теперь искал себе вместилище. — А я не слаб. Я сильнее всех. Я это знаю.

Он сбросил руки брата с плеч и пошёл к конюшне, оставив Михаила стоять посреди заиндевшего двора, сжимая кулаки и чувствуя, как внутри разрастается холодная, липкая, беспросветная уверенность в том, что его брата у него отнимают. Не немцы. Не война. Свои.

Михаил ещё долго стоял посреди двора, глядя, как Пётр исчезает за дверью конюшни. Он понимал, что разговор с Ярцевым утром был не последним — старший майор не умел бросать слов на ветер, и если он наметил Петра как будущего носителя, то не отступится. Нужно было действовать. Но что он мог сделать? Пойти к Громову? Пожаловаться на начальство? В лучшем случае его выслушают и посоветуют не лезть не в своё дело, в худшем — спишут в штрафбат.

С такими мыслями он направился к флигелю и уже взялся за ручку двери, когда внутри что-то изменилось — даже не звук, а тень звука, едва уловимая дрожь воздуха, словно где-то поблизости произнесли слово, которого он не услышал, но почувствовал. Связь. Их проклятая связь. Пётр снова был рядом с алтарём.

Два часа спустя, когда Пётр вернулся из лабораторного корпуса, его глаза блеснули, а движения стали резкими, нервными. Михаил, сидевший на койке с книгой, сразу заметил перемену, но ничего не сказал. Они пообедали в гнетущей тишине, а после на пороге их комнаты вырос вестовой с приказом: лейтенанту Петру Чугунову немедленно явиться в кабинет старшего майора Ярцева.

Кабинет Ярцева располагался на первом этаже, в помещении бывшей барской кладовой. Здесь не было окон — их заложили кирпичом ещё в тридцатые, когда усадьбу использовали под склад райпотребсоюза, — и единственным источником света служила настольная лампа под зелёным стеклянным абажуром. В конусе её света, на дубовом столе, покрытом картой Смоленской области, лежали выписки из дневников Шестакова, несколько фотографий рунических знаков и папка с грифом «Совершенно секретно. Экземпляр № 2».

Когда Пётр вошёл и сел на указанный стул, Ярцев откинулся на спинку и несколько секунд разглядывал его молча, как разглядывают инструмент, от которого зависит успех сложной операции.

— Вы, наверное, уже догадались, что я за вами наблюдаю, — начал он без предисловий. — И не только за вами — за вами и вашим братом вместе. Вы — необычные люди, лейтенант. Очень необычные.

— Я знаю, — сказал Пётр. — Мы с детства такие.

— Не просто «такие». — Ярцев взял со стола один из листов и пробежал его глазами, хотя знал содержание наизусть. — Когда один из вас чувствует боль, второй ощущает её — пусть слабее, но ощущает. Когда один радуется, у второго поднимается настроение, даже если он не знает причины. Это называется «психофизиологическая синхронность». У обычных близнецов она встречается в слабой форме — примерно у одного процента. У вас она выражена в максимальной, почти абсолютной степени. Такого в мировой науке зафиксировано всего шесть случаев. И вы — седьмой.

Пётр слушал, и его глаза постепенно загорались тем самым голодным блеском, который Ярцев уже видел у алтаря.

— И что это значит? — спросил он.

— Это значит, лейтенант, что вы и ваш брат — ключ. — Ярцев понизил голос, придав ему доверительную интонацию. — Вы слышали, что профессор Шестаков говорил о кереку?

О полубогах, которые могли вселяться в живых и менять их природу? Так вот: для того чтобы управлять этой сущностью, нужен «якорь» — человек, который будет удерживать её в носителе, не давая ей выйти из-под контроля. И нужен сам носитель — тот, кто примет сущность в себя и станет чем-то большим, чем просто человек.

Он сделал паузу.

— Я думаю, Пётр, — и впервые он назвал его по имени, без звания, — что вы можете стать этим носителем. Ваша синхронность с братом — это резонанс. А резонанс — это то, что нужно алтарю. Вы не просто солдат. Вы — потенциальный сверхчеловек.

Слово повисло в воздухе, и Ярцев увидел, как зрачки Петра расширились. Он попал в точку. Он знал, на что нажимать: гордость, амбиции, тайное желание быть не просто одним из миллионов, а первым, единственным, неповторимым.

— Сверхчеловек, — повторил Пётр, и его голос дрогнул. — Как в книжках?

— Нет. — Ярцев покачал головой. — В книжках пишут о морали. Я говорю о фактах. Вы можете стать существом, которое не знает страха, боли, усталости. Существом, которое видит в темноте, чувствует врага на расстоянии, убивает одним усилием воли. Представьте: вы выходите на поле боя, и немцы падают замертво, даже не услышав выстрела. Красноармейцы будут знать ваше имя. Вся страна будет знать ваше имя.

Пётр молчал. Его руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. Ярцев видел, как на скулах заходили желваки, и знал, что происходит внутри: борьба между остатками рационального и той тёмной, древней силой, которая уже поселилась в нём при первом контакте с алтарём.

— А Михаил? — спросил наконец Пётр.

— Михаил станет вашим якорем. Он будет рядом. Он будет удерживать вас от того, чтобы сущность поглотила вас полностью. Вы будете связаны — как были связаны всегда, с самого рождения. Только теперь эта связь обретёт новый смысл.

— Он не согласится.

— Он солдат, — отрезал Ярцев. — Он выполнит приказ. — И добавил мягче: — Если вы согласитесь добровольно, это будет лучше для всех. Я не хочу применять принуждение. Но и отступить не намерен.

В этот момент дверь кабинета распахнулась без стука. На пороге стоял Михаил. Его лицо было белым, как известка, а глаза метали молнии. Было очевидно, что он слышал последние фразы через дверь — или, возможно, почувствовал состояние брата через их проклятую связь.

— Товарищ старший майор! — Его голос звенел от едва сдерживаемого гнева. — Разрешите обратиться!

Ярцев не повернул головы. Он продолжал смотреть на Петра.

— Вы забываетесь, лейтенант. Вы входите без доклада.

— Виноват. — Михаил не сдвинулся с места. — Но я требую объяснений. Вы только что предлагали моему брату стать подопытным. Я слышал это собственными ушами.

— Вы не требовали, лейтенант, — поправил его Ярцев, наконец поворачиваясь. — Вы просили. И я вам отвечаю. — Он встал. — Я предлагаю вашему брату возможность, которая выпадает одному человеку из миллиарда. Возможность послужить Родине так, как никто никогда не служил. Возможность стать оружием, которое переломит ход войны.

— Он не оружие! — Михаил шагнул вперёд, и между ним и Ярцевым осталось меньше метра. — Он мой брат! Он живой человек, а не материал для ваших экспериментов!

— Он — солдат Красной Армии. — Ярцев говорил тихо, но каждое его слово падало, как молот. — Как и вы. И он выполнит свой долг. Если потребуется — с вами или без вас.

— Я не дам вам его трогать.

— А кто вас спросит? — Ярцев впервые повысил голос, и его тон стал ледяным. — Вы здесь никто, лейтенант. Охранник. Снайпер. Ваше дело — стрелять туда, куда прикажут. А дело вашего брата — решать свою судьбу самому. Дайте ему эту возможность.

Михаил повернулся к Петру. Тот сидел на стуле, вцепившись в колени, и смотрел в одну точку на стене. Он не вмешивался в разговор, но по его лицу текли капли пота.

— Петька! — Михаил схватил брата за плечо. — Посмотри на меня! Он врёт тебе! Он не сделает тебя сверхчеловеком — он сделает тебя монстром! Ты хочешь такой же смерти, как тот заключённый?

Пётр поднял глаза. И в них уже не было прежнего голода — была мука. Мука человека, разрывающегося между двумя голосами: голосом брата и голосом тьмы, нащёптывающей из подземелья.

— Я не знаю, Миша, — сказал он глухо. — Я правда не знаю.

Ярцев понял, что момент решающий. Он сделал шаг к братьям, встав между ними.

— Лейтенант Михаил Чугунов, — произнёс он официальным тоном, — я приказываю вам покинуть кабинет. Немедленно.

— Я не уйду без брата.

— Тогда я прикажу вас арестовать за неисполнение приказа в военное время. Вы знаете, чем это грозит? Трибунал. Штрафной батальон. Или расстрел — в зависимости от того, как я сформулирую обвинение. — Ярцев смотрел ему прямо в глаза, и в его взгляде не было ни злобы, ни угрозы — только холодная констатация факта. — Вы этого хотите?

Михаил побледнел ещё больше, но не отступил.

— Вы можете меня расстрелять, товарищ старший майор. Но это не изменит того, что вы делаете. Вы не учёный. Вы — убийца. И ваш алтарь — это смерть.

— Смерть, — медленно повторил Ярцев, — это то, из чего рождается победа. Вся историю человечества сильные пожирали слабых, и так было, так есть и так будет. Я просто хочу сделать нашу страну сильной. Хватит ли у вас мужества признать эту правду?

Михаил не ответил. Он перевёл взгляд на Петра, который сидел, низко опустив голову, и не говорил ни слова.

— Петька, — сказал Михаил тихо, — я верю тебе. Ты не такой, как он. Ты сможешь сопротивляться. Я знаю, что сможешь.

Пётр не ответил.

Ярцев взял со стола папку и спрятал её в сейф.

— Вы оба работаете на победу, — сказал он, не оборачиваясь. — Забудьте о братских чувствах. Они только помеха. А теперь, лейтенант Михаил Чугунов, — последний раз: покиньте кабинет.

Михаил постоял ещё несколько секунд, тяжело дыша. Потом вытянулся по стойке «смирно», щёлкнул каблуками — но в этом жесте было больше вызова, чем субординации, — и вышел. Дверь за ним закрылась, и в кабинете снова стало тихо.

Ярцев подошёл к Петру и положил руку ему на плечо.

— Не обращайтесь внимания, — сказал он мягко. — Братья часто не понимают, что их любовь душит. Он хочет вас защитить, но на самом деле он ограничивает вас. Вы достойны большего, Пётр. Вы это знаете.

Пётр поднял голову, и в его глазах снова зажглись те самые чёрные огоньки.

— Я согласен, — сказал он.

— Что?

— Я согласен, товарищ старший майор. Я хочу стать сверхчеловеком.

Ярцев улыбнулся. На этот раз его улыбка была почти искренней.

— Вот и хорошо, лейтенант. Вот и хорошо. Завтра мы начнём.

Вечером того же дня, когда Пётр вернулся в их комнату, Михаил сидел на койке и чистил наган. Он не поднял глаз, не сказал ни слова. Пётр постоял на пороге, потом сел на свою койку и тоже начал разбирать винтовку.

Так они просидели в полном молчании почти час, и только скрип шомпола да щелчки затвора нарушали тишину. Потом Михаил вдруг заговорил — не поднимая головы, не глядя на брата:

— Когда мы были маленькими, отец брал нас на охоту. Помнишь?

— Помню, — ответил Пётр.

— Мы тогда подстрелили зайца. Ты плакал. Ты не хотел, чтобы он умирал.

— Это было давно.

— Это было нами. — Михаил наконец поднял глаза. — Мы были людьми, Петька. Обычными людьми, которые жалеют зайцев.

Пётр долго молчал, глядя на разобранный затвор. Потом сказал:

— Люди слабые, Миша. Я больше не хочу быть слабым.

Он лёг на койку, отвернувшись к стене, и через несколько минут его дыхание стало ровным. Михаил ещё долго сидел, сжимая в руках наган, и думал о том, что заяц, которого они тогда подстрелили, смотрел на них точно такими же глазами, какими сегодня смотрел Пётр, — полными непонимания, боли и какой-то тёмной, древней обречённости.

С этой ночи между братьями пролегла трещина. Пока ещё тонкая, как волос. Но Ярцев знал: трещина — это начало разлома. А разлом — это то, что нужно алтарю.

Глава 4. Пробуждение зверя

К середине октября фронт под Москвой трещал по швам. Немецкие танковые клинья, прорвавшие оборону под Вязьмой, устремились к столице по трём направлениям, и в сводках Совинформбюро, которые Ярцев слушал по скрипучему ламповому приёмнику, всё чаще мелькали названия подмосковных городов, ещё месяц назад считавшихся глубоким тылом. Лабораторию в Химках приказано было эвакуировать немедленно. Пункт назначения — Свердловск, где в подвалах местного управления НКВД уже оборудовали новую экспериментальную базу.

Колонна вышла затемно, в четыре часа утра. Три машины: головной ГАЗ-67 с Ярцевым, Громовым и шофёром; ЗИС-5 с лабораторным оборудованием, алтарём в опечатанном цинковом ящике и Невзоровым, который сидел в кузове, обложившись приборами, как наседка цыплятами; и второй ЗИС-5 с охраной — десятком бойцов из комендантского взвода, Стекловым и братьями Чугуновыми. Дорога лежала через Клин, Калинин и Ярославль — длинная петля, чтобы обойти зоны прорыва, почти тысяча километров по разбитым просёлкам и забитым беженцами трактам.

Первый день прошёл без происшествий. К вечеру колонна миновала Клин и углубилась в леса севернее Волоколамского шоссе. Дорога здесь была пустынной — только чёрные остовы сожжённых грузовиков на обочинах да свежие воронки, заполненные ржавой водой. Октябрьский дождь, моросивший с утра, к ночи превратился в мокрый снег, который налипал на лобовые стёкла и превращал дорогу в грязевое месиво. Ехали без фар, ориентируясь по едва заметной колее и тусклому свету карманных фонариков, которыми шофёры подсвечивали приборные доски.

Около полуночи колонна вошла в узкий распадок между двумя холмами, поросшими густым ельником. Место было гиблое: дорога стиснута лесом, обочины завалены буреломом, не развернуться. Громов, сидевший на переднем сиденье головной машины, снял автомат с предохранителя и высунул ствол в оконную щель.

— Товарищ старший майор, — сказал он негромко, — место плохое. Надо бы разведку вперёд выслать.

Ярцев, дремавший на заднем сиденье, открыл глаза.

— До рассвета три часа, Громов. Остановимся — замёрзнем. Двигай.

— Разрешите хотя бы спешиться охране? Пройти пешим дозором впереди?

Ярцев подумал секунду и кивнул:

— Добро. Только быстро.

Громов выпрыгнул из машины, подбежал ко второму грузовику и передал приказ. Четверо бойцов, включая братьев Чугуновых, спрыгнули на землю и, рассыпавшись цепью, двинулись вперёд по обочинам. Михаил шёл слева, Пётр — справа. Винтовки они держали наизготовку, и в сером предрассветном сумраке их силуэты казались зеркальным отражением друг друга.

Первым опасность почувствовал Михаил. Не услышал — именно почувствовал, тем самым шестым чувством, которое вырабатывается у снайперов после сотен часов, проведённых в засадах. Воздух впереди, метрах в пятидесяти, был как-то неправильно плотным. Ветер дул оттуда, и он не приносил ни запаха дыма, ни звука шагов, — но там, где должен был быть просто лес, ощущалась чужая воля. Напряжённая. Ждущая.

Он поднял руку, подавая сигнал остановиться, но не успел.

Из темноты, с холма справа, ударил пулемёт. Огненная строчка прошла головной грузовик, разбив лобовое стекло и превратив шофёра в мешок с костями. Ярцев, вжавшийся в пол кабины, выхватил ТТ и выстрелил в темноту — наугад, просто чтобы обозначить ответный

огонь. Громов, успевший отпрыгнуть в кювет, открыл ответную стрельбу из ППШ, целясь по вспышкам.

— Абвер! — крикнул кто-то из бойцов, и это слово подстегнуло всех, как удар хлыста.

Это действительно были абверовцы — диверсионная группа, одетая в советскую форму без знаков различия. Их было около дюжины, они заняли позиции на обоих склонах распадка и теперь поливали колонну перекрёстным огнём. Видимо, они ждали именно эту колонну — и знали, что в ней везут.

Бой распался на отдельные огневые точки. Бойцы охраны залегли за грузовиками, отвечая короткими очередями. Стеклов, прижатый к заднему колесу, палил из нагана, не целясь. Невзоров, сидевший в кузове с алтарём, обхватил голову руками и вжался в ящики с приборами, шепча что-то не то матерное, не то молитвенное.

А Пётр Чугунов вдруг перестал стрелять.

Он стоял на левой обочине, в полный рост, не прячась, и его винтовка висела на ремне, забытая. Пули свистели вокруг, срезали ветки, впивались в землю у его ног, но он, казалось, не замечал их. Его лицо, обращённое к темноте, из которой вёлся огонь, изменилось: черты заострились, губы растянулись в подобии улыбки, а глаза — Михаил, который видел это с другой стороны дороги, готов был поклясться — стали совершенно чёрными, от зрачка до края радужки.

— Петька! Ложись! — заорал Михаил, но его голос потонул в грохоте перестрелки.

Пётр не услышал. Или не захотел услышать.

Он сорвался с места и побежал — не пригибаясь, не петляя, прямым, как стрела, маршрутом вверх по склону, туда, где за поваленным стволом засел пулемётный расчёт. Двигался он странно: слишком быстро, слишком плавно, как будто его тело потеряло вес и приобрело иную геометрию. Михаил, который был лучшим бегуном в их полку, не мог понять, как человек способен так двигаться по раскисшей глине под огнём.

Добежав до пулемётной позиции, Пётр прыгнул — и этот прыжок тоже был нечеловеческим, длиной метра в четыре, без разбега. Он обрушился на пулемётчика сверху, и то, что произошло дальше, Михаил запомнил на всю оставшуюся жизнь — запомнил с той болезненной, фотографической чёткостью, какой обладают только самые страшные воспоминания.

Пётр схватил немца за каску, рванул на себя и в сторону, ломая шейные позвонки с сухим, отчётливым хрустом, который был слышен даже сквозь стрельбу. Пулемёт захлебнулся. Второй номер расчёта — молодой парень с перекошенным от ужаса лицом — попытался выхватить пистолет, но Пётр перехватил его руку и вывернул её с такой силой, что кость вышла из плечевого сустава, разорвав рукав. Третий — тот, что подавал патронные ленты, — бросился бежать, но Пётр догнал его в три шага, опрокинул на землю и, навалившись сверху, вцепился руками в горло.

Он не душил его. Он разорвал ему горло.

Пальцами. Голыми руками, без ножа, без штыка, одними лишь мышечными усилиями, которые превосходили всё, на что способен человек. Кровь ударила фонтаном, заливая лицо Петра, его гимнастёрку, снег под телом немца, и в этой крови, чёрной в предрассветных сумерках, он поднял голову и закричал.

Это не был крик торжества или боли. Это был звук, который Михаил никогда раньше не слышал от своего брата — низкий, гортанный, почти звериный вой, в котором не осталось ничего человеческого.

Бой закончился через минуту. Оставшиеся абверовцы, увидев гибель пулемётного расчёта и поняв, что эффект внезапности утерян, начали отходить в лес, отстреливаясь на ходу. Громов с тремя бойцами бросился в преследование, но быстро отстал — немцы знали местность лучше и ушли через заранее подготовленный проход в минных заграждениях.

На дороге воцарилась тишина, нарушаемая только стонами раненых и потрескиванием остывающего мотора головной машины. Михаил первым подбежал к брату.

Пётр сидел на коленях возле тела убитого им немца. Его руки по локоть были в крови, лицо — в багровых разводах, гимнастёрка порвана на плече. Он тяжело дышал, опустив голову, и его тело сотрясала крупная дрожь. Рядом с ним лежали три трупа: один с вывернутой головой, второй с неестественно выгнутой рукой, третий — с разорванным горлом, из которого ещё вытекала тёмная, густеющая на морозе кровь.

— Петька, — тихо позвал Михаил, присаживаясь рядом. Он протянул руку, чтобы коснуться плеча брата, но тот резко дёрнулся и поднял глаза.

И Михаил увидел их — чёрные, бездонные, без белков, словно два провала в никуда. Это длилось всего мгновение: Пётр моргнул, и его глаза снова стали обычными — тёмно-карими, с расширенными зрачками. Но Михаил успел заметить. Успел и запомнил.

— Ты как? — спросил Михаил, стараясь говорить ровно.

Пётр посмотрел на свои руки, на тело немца, на кровь, которая уже начинала замерзать на пальцах, и на его лице отразилось недоумение. Почти детское. Как у человека, который проснулся в незнакомом месте и не понимает, как там оказался.

— Я... — он запнулся, — я не помню. Я только помню, что бежал. А потом... темно. И шум в ушах.

— Ты убил троих, — сказал Михаил, и его голос прозвучал жёстче, чем он хотел. — Ты разорвал горло одному из них. Голыми руками.

Пётр опустил глаза на труп и долго смотрел на него. Потом его начало трясти — уже не от холода, а от запоздалого ужаса, который пробивался сквозь пелену отстранённости, как свет пробивается сквозь плотные шторы.

— Я не хотел, — прошептал он. — Я не помню. Клянусь, Миша, я не помню.

К месту боя уже подходили остальные. Ярцев, выбравшийся из повреждённой машины с рассечённой осколками скулой, подошёл к братьям и остановился, глядя на поле боя. Его взгляд профессионально оценил позиции немцев, траектории атаки Петра, расположение тел. Потом он перевёл взгляд на самого Петра, всё ещё стоявшего на коленях, и в его глазах мелькнуло то самое выражение, которое Михаил уже видел в лаборатории — голодный, исследующий интерес.

— Лейтенант, — сказал Ярцев, и его голос был на удивление спокоен, — вы ранены?

Пётр покачал головой.

— Тогда поднимайтесь. Нужно уходить. Немцы могут вернуться с подкреплением.

— Товарищ старший майор, — вмешался Михаил, поднимаясь на ноги, — вы видели, что здесь произошло?

— Я видел, — коротко ответил Ярцев. — Я видел, что ваш брат в одиночку уничтожил пулемётный расчёт и спас колонну. Это героический поступок, лейтенант. Вы должны гордиться им.

— Он не помнит, что сделал, — сквозь зубы произнёс Михаил. — Он убил человека голыми руками и не помнит этого. Вы считаете это нормальным?

Ярцев посмотрел на Михаила долгим, тяжёлым взглядом.

— Я считаю, — сказал он тихо, — что на войне происходит много такого, что не укладывается в рамки «нормального». А теперь — хороните убитых, грузите раненых и по машинам. До рассвета мы должны быть как можно дальше отсюда.

Он повернулся и пошёл к грузовику, бросив через плечо:

— Чугунов-младший, приведёте себя в порядок. У вас есть пятнадцать минут.

Пётр с трудом поднялся на ноги. Его всё ещё трясло, и Михаил, забыв о размолвке, взял его за плечо и повёл к заднему грузовику. Там он усадил брата на подножку, достал флягу с водой и начал смывать кровь с его лица, молча, сосредоточенно, как когда-то в детстве отмывал

его от смолы и грязи после лесных походов. Пётр сидел неподвижно, позволяя брату делать это, и только губы его беззвучно шевелились, словно он повторял про себя одно и то же слово.

Громов, вернувшийся из безуспешной погони, подошёл к Ярцеву, который осматривал карту, разложенную на капоте уцелевшего ЗИСа.

— Ушли, — доложил он. — Пятеро, может, шестеро. У них был подготовлен отход. Это не случайная засада, товарищ старший майор. Они знали маршрут.

— Разумеется, знали, — ответил Ярцев, не поднимая головы. — У абвера есть агентура в нашем тылу. Ничего удивительного. Удивительно другое. — Он оторвался от карты и посмотрел на Громова. — Вы видели, что сделал Чугунов?

— Видел.

— И?

Громов помолчал. Он вспомнил, как Пётр бежал вверх по склону — слишком быстро, слишком плавно, не обращая внимания на пули. Вспомнил, как он разорвал горло немцу — не ножом, не штыком, пальцами. Вспомнил его крик.

— Я видел, как человек сделал то, чего нормальный человек сделать не может, — сказал он наконец. — Ни физически, ни... психически.

— Вот именно. — Ярцев аккуратно сложил карту и убрал её в планшет. — И я хочу понять, что именно с ним произошло. Это не просто боевой транс, Громов. Это что-то другое. Что-то, связанное с алтарём.

— Вы думаете, алтарь повлиял на него? На расстоянии?

— Я думаю, — Ярцев задумчиво потёр подбородок, — что Пётр Чугунов — природный носитель. Его психика, его организм изначально были восприимчивы к воздействию сущности. А контакт с алтарём в кургане и потом в лаборатории... активировал эту восприимчивость. Теперь он — как камертон, который отзывается на вибрацию, даже не находясь рядом с источником.

— И что это значит для него?

Ярцев ответил не сразу. Он смотрел на задний грузовик, где Михаил, стоя на коленях перед братом, продолжал оттирать кровь с его лица. В свете карманного фонаря их фигуры казались вырезанными из дерева — две одинаковые фигуры, одна склонённая над другой.

— Это значит, лейтенант, что мы нашли то, что искали. И теперь наша задача — научиться это контролировать.

Он направился к грузовику, но Громов остановил его вопросом:

— А если контроль невозможен?

Ярцев обернулся, и в тусклом свете фонаря его лицо казалось маской, вырезанной из старой слоновой кости.

— Тогда мы потеряем обоих, — сказал он. — И носителя, и якоря. Но мы обязаны попытаться. Или вы предпочитаете, чтобы следующего Чугунова создали немцы?

Громов не ответил. Через полчаса колонна двинулась дальше, оставив на обочине четыре свежих могильных холмика — три немецких и один свой, для убитого шофёра. Снег, повалившийся гуще, быстро засыпал их, сравнивая с землёй, и вскоре ничто уже не напоминало о ночном бое.

Кроме крови под ногтями Петра Чугунова, которую он так и не смог отмыть до конца. И кроме холода, поселившегося в его зрачках — холода, который не имел отношения ни к октябрьской стуже, ни к ледяной воде из фляги. Этот холод шёл изнутри — из той самой черноты, которая проснулась в алтаре и теперь искала себе дорогу в мир через самого уязвимого из людей.

Того, кто сам, добровольно, открыл ей дверь.

Привал устроили в редком осиннике, километрах в пятнадцати от места засады. До рассвета оставалось чуть больше часа, небо на востоке только начинало сереть, но лес ещё тонул

в той густой, вязкой темноте, какая бывает в октябре перед первым снегом. Дождь перестал, ветер стих, и в наступившей тишине каждый звук — треск ветки под сапогом, звяканье фляги, приглушённый стон раненого — разносился далеко и отчётливо, как в пустом соборе.

Машины поставили полукругом, выставив охранение. Раненых — троих легко и одного тяжёлого, с пулей в животе, — уложили в кузове второго ЗИСа, накрыв шинелями. Убитого шофёра, наспех завёрнутого в плащ-палатку, положили у обочины — хоронить будут позже, когда доберутся до своих. Стеклов, хмурый и молчаливый, перезаряжал наган, сидя на подножке. Невзоров, всё ещё бледный после пережитого, проверял крепления цинкового ящика с алтарём, хотя крепления были в порядке — просто ему нужно было чем-то занять руки.

Ярцев стоял у капота головной машины, разложив на нём карту. Света для чтения не хватало, но он и не читал — смотрел в одну точку, и его тонкие губы были плотно сжаты. Громов, только что вернувшийся из охранения, подошёл к нему и доложил, что периметр чист, немцы ушли и, судя по всему, преследования не будет.

— Хорошо, — ответил Ярцев, не поднимая головы. — Где Чугуновы?

— У второй машины. Михаил помогает брату отмыться.

— Обоих ко мне. Немедленно.

Громов кивнул и направился к заднему грузовику. Он нашёл братьев там, где и ожидал: Пётр сидел на откидном борту, сторбившись, завернувшись в чужую шинель, и его всё ещё трясло — теперь уже не от холода, а от нервного истощения. Михаил стоял рядом, держа в руке мокрую тряпку, которой пытался оттереть засохшую кровь с шеи брата. Увидев Громова, он напрягся.

— Старший майор требует обоих, — сказал Громов.

Михаил переглянулся с братом. Пётр медленно, словно через силу, сполз с борта и встал. Его движения были заторможенными, как у человека, только что вышедшего из наркоза. Михаил взял его за локоть и повёл к головной машине. Громов последовал за ними, держась чуть позади.

Ярцев ждал их, скрестив руки на груди. В свете карманного фонаря, который он прикрепил к ветке осины, его лицо казалось ещё более бледным, чем обычно, а ссадина на скуле, наспех заклеенная пластырем, добавляла ему сходства с дуэлянтом, только что вышедшим из схватки.

— Докладывайте, лейтенант, — сказал он, обращаясь к Петру. — Что вы помните о бое?

Пётр поднял глаза. Он явно ожидал другого — благодарности, похвалы, может быть, даже представления к награде за уничтожение пулемётного расчёта. Но Ярцев смотрел на него не как на героя. Он смотрел как на препарат под микроскопом.

— Я... — Пётр облизал пересохшие губы. — Я помню, как началась стрельба. Помню, как все залегли. А потом... — он нахмурился, силясь выудить из памяти ускользающие образы, — потом я увидел пулемёт. Он бил по нашим. И я побежал.

— Вы бежали в полный рост, — уточнил Ярцев. — Не пригибаясь. Не петляя. Вы понимали, что вас могут убить?

— Я не думал об этом. — Пётр покачал головой. — Я вообще ни о чём не думал. Просто... как будто кто-то другой взял моё тело и сделал всё за меня.

— Кто-то другой, — повторил Ярцев. В его голосе не было насмешки — только холодный, аналитический интерес. — И что вы чувствовали в этот момент?

Пётр замаялся. Он бросил быстрый взгляд на Михаила, словно ища поддержки, но Михаил стоял с каменным лицом, сжимая кулаки.

— Я чувствовал... — Пётр запнулся, — силу. Огромную силу. Как будто я мог всё. Как будто пули — это просто мухи. Как будто никто не мог меня остановить.

— А когда вы убили первого? — продолжал Ярцев, и его голос звучал буднично, словно он спрашивал о показаниях приборов. — Вы помните, что сделали с ним?

— Я сломал ему шею. — Пётр произнёс это едва слышно, и его лицо исказилось, как от боли. — Я помню хруст.

— А второго?

— Я вывернул ему руку. Оно... она сломалась как спичка.

— А третьего?

Пётр закрыл глаза.

— Я разорвал ему горло. Пальцами. — Он поднял руки и посмотрел на них так, словно видел впервые. На его пальцах, под ногтями, всё ещё темнела запёкшаяся кровь. — Я не знаю, как я это сделал. Я не мог этого сделать. У меня не хватило бы сил.

— Вот именно, — тихо произнёс Ярцев. — У вас не хватило бы сил. У нормального человека не хватило бы. Но вы сделали это. — Он сделал шаг вперёд, приблизившись к Петру почти вплотную, и заглянул ему прямо в зрачки. — И я знаю почему. Потому что в вас уже есть оно. То, что спит в алтаре. Оно проснулось в вас при первом контакте — ещё там, в кургане, когда вы смотрели на камень и не могли отвести глаз. А сегодня, в бою, оно вышло наружу. Вы стали его проводником. Вы стали тем, кем вас задумала природа — или те, кто создал алтарь десять веков назад.

— Я не проводник! — Пётр отшатнулся, и в его голосе зазвенел страх. — Я не хочу им быть! Я солдат! Я обычный солдат!

— Вы уже не обычный. — Ярцев говорил спокойно, но каждое его слово било, как молоток по гвоздю. — И никогда им не будете. Ваш организм, ваша психика, сама ваша кровь — всё это идеально настроено на резонанс с сущностью. Вы — природный носитель, лейтенант. Такие рождаются раз в столетие. И я не позволю вам растратить этот дар на то, чтобы быть «обычным солдатом».

Михаил, до сих пор молчавший, шагнул вперёд и встал между Ярцевым и братом.

— Хватит, — сказал он глухо. — Вы слышали его. Он не хочет. Вы не можете заставить его стать подопытным.

Ярцев медленно, очень медленно перевёл взгляд на Михаила. В этом взгляде не было ни гнева, ни раздражения — только спокойная, почти скучающая констатация факта.

— Лейтенант Чугунов-старший, — произнёс он официальным тоном, — я уже предупредил вас: ваше дело — охрана, а не обсуждение моих решений. Вы вмешиваетесь в ход операции, имеющей высший приоритет государственной важности. Это не просто нарушение субординации. Это саботаж.

— Саботаж? — Михаил горько усмехнулся. — Вы называете саботажем попытку спасти брата от превращения в чудовище?

— Я называю саботажем неисполнение приказов в военное время. — Ярцев повысил голос ровно настолько, чтобы его услышали стоявшие поблизости бойцы. — И у меня есть все основания полагать, что вы намерены и дальше препятствовать проведению эксперимента.

— Да, — твёрдо сказал Михаил. — Намерен. Я не дам вам использовать Петра как подопытного кролика. Лучше убейте меня сразу.

Наступила тишина. Такая глубокая, что было слышно, как ветер шевелит мокрые листья осины над головой. Бойцы охраны, прислушивавшиеся к разговору, замерли. Громов, стоявший за спинами братьев, не шевелился, но его рука сама собой легла на кобуру.

Ярцев вздохнул — коротко, сухо, словно разочарованный тем, что приходится тратить время на очевидные вещи.

— Лейтенант Громов, — сказал он, не оборачиваясь.

— Слушаю, товарищ старший майор.

— Лейтенант Михаил Чугунов арестован за неоднократное неисполнение приказов командования, подрыв дисциплины и попытку саботажа операции особой государственной

важности. Оформите арест, изымите оружие, поместите под стражу. До Свердловска он поедет в кузове, под охраной.

Громов помедлил ровно секунду — ту самую секунду, которая отделяет исполнителя от соучастника. Потом вытянулся и ответил:

— Есть.

Михаил не стал сопротивляться. Он стоял, глядя на Ярцева, и в его глазах горела та особая, бессильная ярость, какая бывает только у людей, осознавших, что они проиграли ещё до начала боя. Громов подошёл к нему, отцепил от ремня кобуру с наганом, снял с плеча винтовку. Михаил не шевелился.

— Прости, — тихо сказал он, обращаясь к Петру, и в этом единственном слове было столько боли, что даже Громов, привыкший ко многому, на мгновение отвёл глаза.

Пётр стоял, глядя на брата, и его лицо дёргалось, как от тика. Он хотел что-то сказать — открыл рот, но не смог выдать ни звука. Его руки, висевшие плетьюми, начали подрагивать, и в глазах снова появилась та самая чернота — пока ещё едва заметная, крадущаяся у самого края зрачка, словно зверь перед прыжком.

— Уведите его, — приказал Ярцев.

Громов взял Михаила за локоть и повёл к грузовику. Двое бойцов охраны, повинаясь жесту лейтенанта, последовали за ними. Михаил шёл, не оборачиваясь, но спина его была прямая, как на параде, и в этой прямоте было больше вызова, чем в любом крике.

Когда они отошли, Ярцев повернулся к Петру. Тот стоял, всё ещё глядя вслед брату, и его губы беззвучно шевелились.

— Не переживайте, лейтенант, — сказал Ярцев. Теперь его голос звучал мягче, почти отечески. — Ваш брат не пострадает. Он просто побудет под арестом, пока не осознает свою ошибку. Когда мы прибудем в Свердловск и вы пройдёте подготовку, я лично поговорю с ним. Возможно, он изменит своё мнение.

— Он не изменит, — прошептал Пётр. — Он упрямый.

— Упрямство лечится временем, — ответил Ярцев. — И изоляцией. А теперь — приведите себя в порядок. Через полчаса выезжаем. Вы мне нужны в полной боевой готовности.

Пётр кивнул и пошёл прочь, спотыкаясь на каждом шагу. Ярцев проводил его взглядом, затем достал из планшета блокнот и сделал короткую запись. Карандаш скрипел по бумаге: «Объект П.Ч. — природный носитель. Активация в боевых условиях подтверждена. Синхронность с артефактом сохраняется на расстоянии. Для продолжения эксперимента требуется изоляция от якоря (объект М.Ч.). Приступить к фазе II по прибытии в Свердловск».

Он убрал блокнот, захлопнул планшет и направился к машине. Утренний ветер донёс откуда-то издали глухой раскат артиллерийской канонады — фронт напоминал о себе даже здесь, в глубоком тылу. Но Ярцев не обратил на это внимания. Он думал о другом. Он думал о том, что сегодня впервые увидел работу алтаря в полевых условиях — пусть и опосредованно, через носителя. И результат превзошёл все ожидания.

Один человек, обычный с виду лейтенант, уничтожил пулемётный расчёт голыми руками. А что будет, когда он пройдёт полную обработку? Когда его кровь смешается с экстрактом алтаря? Когда он станет не временным, а постоянным вместилищем?

Ярцев не знал ответа. Но он знал, что узнает его. Чего бы это ни стоило.

В кузове грузовика, под брезентовым тентом, Михаил сидел на ящике с боеприпасами, пристёгнутый наручниками к металлической скобе. Напротив него, на таком же ящике, сидел Громов, положив автомат на колени. Они ехали молча уже больше часа, и тишина между ними была тяжёлой, как вода на глубине.

Наконец Михаил поднял голову и спросил:

— Ты ведь понимаешь, что он делает?

Громов не ответил.

— Он не учёный. Он мясник. — Михаил говорил тихо, но каждое слово было отчётливым. — Он уже убил одного заключённого. Теперь он хочет убить моего брата. Не сразу. Медленно. По капле. Он выпьет из него всё человеческое и оставит только оболочку, в которой будет жить та тварь из алтаря.

— Я слышал твои доводы, — ответил Громов. — Старший майор считает иначе.

— А ты? Ты-то сам что считаешь?

Громов долго молчал. Машина подпрыгнула на ухабе, цепи наручников звякнули. Потом лейтенант ответил — не глядя на Михаила, глядя куда-то в темноту за тентом:

— Я считаю, что мы все уже по уши в дерьме, Чугунов. И вопрос не в том, кто прав, а в том, кто выживет. Твой брат, если станет носителем, возможно, выживет. Если нет — его убьют немцы. Или свои, когда он в очередной раз сорвётся и разорвёт кого-нибудь, кто не заслужил.

— Значит, ты за него? За Ярцева?

— Я ни за кого. — Громов наконец повернул голову и встретился взглядом с Михаилом. Его серые глаза были спокойны, как замёрзшее озеро. — Я выполняю приказы. Пока они не противоречат тому, что я считаю правильным. А что я считаю правильным — это моё личное дело.

— И что ты будешь делать, когда они начнут противоречить?

Громов не ответил. Он отвернулся, поправил автомат и закрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. Но Михаил заметил, что его пальцы, лежавшие на цевье, чуть заметно дрогнули.

За тёмным брезентом проплывали леса, овраги, сожжённые деревни. Фронт уходил на восток, а вместе с ним — и надежда на то, что эта история закончится быстро и без крови. Но кровь только начиналась. И чем дальше на восток уходила колонна, тем ближе становилась та точка невозврата, за которой уже не будет ни правых, ни виноватых — только жатва.

Глава 5. Песнь жатвы

Свердловск встретил группу «Заря» морозным ноябрьским утром — таким, когда воздух кажется стеклянным и каждый вдох режет лёгкие острой кромкой. Город жил по законам военного времени: затемнение, очереди за хлебом, эшелоны с эвакуированными заводами, которые разгружались круглосуточно под надзором зенитных батарей, расставленных на крышах цехов. Здесь, на Урале, война ощущалась иначе — не как близкая угроза, а как тяжёлая, непрерывная работа, высасывающая силы без остатка.

База группы разместилась в подвалах областного управления НКВД на улице Воеводина — мрачном конструктивистском здании с толстыми стенами и узкими окнами-бойницами. Подземная часть его была построена ещё в тридцать седьмом, когда здесь оборудовали спецтюрьму для особо важных подследственных, и с тех пор сохранила свою атрибутику: стальные двери с глазками, звукоизоляцию из прессованной пробки, систему вентиляции с шумопоглотителями, которая могла работать автономно даже при отключении городского электричества. Ярцев, осматривая помещения в первый день, удовлетворённо кивнул: здесь можно было проводить эксперименты любой степени секретности, не опасаясь ни бомбёжек, ни чужих ушей.

Лабораторный зал оборудовали в бывшей камере для допросов — самой большой, размером шесть на восемь метров, с усиленным бетонным полом и стенами, обитыми листовым железом. В центре зала, на массивном стальном постаменте, покоился алтарь. Его чёрная поверхность, казалось, поглощала скудный свет потолочных ламп, и воздух вокруг него всегда был на несколько градусов холоднее, чем в остальном помещении. Невзоров, проводивший замеры, зафиксировал это явление, но объяснить не смог.

Вдоль стен выстроились приборы: кардиограф, энцефалограф, портативная рентгеновская установка, несколько самописцев. В углу стояли два газовых баллона с галогеновой смесью и кислородом — на случай, если потребуются наркоз. У дальней стены смонтировали стеклянную клетку — куб размером два на два метра, сваренный из толстых листов плексигласа, с отверстиями для подачи воздуха и вмонтированными электродами. Ярцев распорядился укрепить её стальными уголками и снабдить замками, открывавшимися только снаружи. В эту клетку должен был войти Пётр Чугунов.

Первый опыт в Свердловске назначили на пятнадцатое ноября. Дата была выбрана не случайно: Ярцев, изучив записи Шестакова, обнаружил, что древние жрецы проводили свои ритуалы в определённые дни лунного цикла, и пятнадцатое ноября соответствовало новолунию — времени, когда, согласно старообрядческим поверьям, грань между мирами истончалась. Сам Ярцев в мистику не верил, но считал, что любой фактор, способный повысить вероятность успеха, должен быть использован.

Пётр находился в отдельной камере предварительного содержания уже неделю. Всю эту неделю его готовили: особый режим питания — почти без мяса, только каши и вода; ежедневные инъекции глюкозы и какого-то раствора, который Невзоров синтезировал, следуя рецептам из дневников Шестакова; полная изоляция от внешнего мира. Ему не разрешали видеться с Михаилом, который сидел в соседнем крыле под арестом. Ему не давали читать, курить, разговаривать с охраной. Единственным, с кем он общался, был Ярцев, приходивший каждый вечер для «бесед» — долгих, монотонных разговоров о силе, предназначении и грядущем преображении.

К пятнадцатому ноября Пётр изменился. Он похудел, осунулся, его кожа приобрела сероватый оттенок, а глаза — те самые тёмные, почти чёрные, — теперь, казалось, постоянно были расширены, даже при ярком свете. Он стал молчаливым, заторможенным, и только когда его вывели из камеры и повели по коридору в лабораторию, в его походке появилась странная,

нечеловеческая плавность — как у зверя, которого ведут на заклятие, но который ещё не решил, будет ли сопротивляться.

В лаборатории собрались все: Ярцев в белом халате поверх кителя, с планшетом в руке; Невзоров у пульта приборов, бледный, с красными от недосыпа глазами; Стеклов в углу, с протоколом и фотокамерой; Громов у двери, с автоматом на груди. Последнего Ярцев пригласил не как участника, а как свидетеля — «для протокола», как он выразился. Но Громов понимал: его позвали, чтобы он видел. Чтобы знал. Чтобы не задавал лишних вопросов потом.

Петра ввели в зал. На нём был всё тот же холщовый комбинезон без знаков различия, какой выдавали подследственным. Руки свободны, но у двери стояли двое охранников с серебряными пулями в патронниках — предосторожность, которую Ярцев ввёл после случая на дороге. Пётр обвёл зал взглядом, задержался на алтаре, и его губы тронула слабая, едва заметная улыбка. Не радостная. Узнавающая.

— Лейтенант, — обратился к нему Ярцев, — сегодня мы переходим ко второму этапу. Вы добровольно согласились участвовать в эксперименте. Ваше согласие зафиксировано. Если вы готовы продолжить — войдите в камеру.

Пётр посмотрел на клетку. На её прозрачные стены, на стальные уголки, на электроды, поблёскивающие в свете ламп. Потом перевёл взгляд на Ярцева, и в этом взгляде промелькнуло что-то, чего старший майор не ожидал: не страх, не покорность, а мрачное, почти насмешливое предвкушение.

— Я готов, — сказал Пётр.

Он вошёл в клетку, и дверь за ним закрыли. Замки щёлкнули — два навесных и один внутренний, электромагнитный, который управлялся с пульта Невзорова. Пётр встал в центре клетки, опустив руки, и теперь он был похож на статую — неподвижный, замерший, с обращённым к алтарю лицом.

Ярцев кивнул Невзорову.

— Начинайте.

Невзоров нажал несколько тумблеров на пульте. Заработал генератор — низкий, утробный гул заполнил зал. К алтарю были подключены несколько трубок, по которым из герметичного контейнера подавался газ — тот самый «чёрный туман», который они получили в Химках и сумели стабилизировать в замкнутом объёме. Туман медленно потёк по трубкам и начал просачиваться в клетку через отверстия в плексигласе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.